НИКОЛАЙ ДОБРОЛЮБОВ.

Его жизнь и литературная деятельность

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- А. М. Скабичевский
  -
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

А. М. Скабичевский
Николай Добролюбов. Его жизнь и литературная деятельность
Биографический очерк
С портретом Добролюбова, гравированным в Лейпциге Геданом

Глава I
Детство Добролюбова. – Воспитание домашнее, в духовном училище и в семинарии

Недаром ставятся всегда рядом и составляют как бы один нераздельный триумвират великие русские критики В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов и Д. И. Писарев. Это объясняется не только тем, что все они по силе таланта и влияния на современников стоят на равной высоте. Подобное сопоставление имеет еще большее значение, если принять во внимание, что каждый из этих трех критиков был наитипичнейшим представителем своей эпохи: Белинский – сороковых годов, Добролюбов – конца пятидесятых, Писарев – шестидесятых, – и вместе с тем деятельность их словно сливается в одну, так как едва смолк голос Белинского (не прошло и десяти лет после его смерти), появился Добролюбов и, сообразно времени, развил далее идеи Белинского, а затем для дальнейшего развития передал их Писареву.

Занимая, таким образом, центральное место, Добролюбов является в одно и то же время «созданием» Белинского и «создателем» Писарева. Он стоит во главе своего времени как воскреситель и хранитель всех лучших заветов сороковых годов и как инициатор всего движения шестидесятых.

Стоя во главе своего века как писатель, Добролюбов замечателен был сверх того и тем, что и как человек он был героем своего времени, поражая своих современников идеальной высотой своей личности, безукоризненной верностью слов и дел и нравственной чистотой, возвышавшейся своим строгим ригоризмом до подвижничества христиан первых веков.

По происхождению своему Николай Александрович Добролюбов принадлежал к духовному званию. Отец его, Александр Иванович, был священником нижегородской Никольской церкви. Семейство у него было большое, состояло из семи душ детей, и хотя достатков лишних не имело, но и тяжкой нужды не терпело. Вот в этой-то патриархальной семье старинного домостроевского типа, с беспрекословным подчинением младших суровой воле старших, первенцем и был Н. А. Добролюбов, родившийся 24 января 1836 года.

Отец Александр сверх церковной службы занят был и педагогической деятельностью – в должности законоучителя в

нижегородском канцелярском училище, давал частные уроки, хлопотал на постройке своих домов, – поэтому редко бывал дома и мало занимался детьми, и последние росли почти всецело под попечением своей матери, Зинаиды Васильевны, – женщины, по общим отзывам, умной и прекрасной. Этим обусловливалось то, что Добролюбов в детстве своем несравненно более привязан был к матери, чем к отцу. Отец по-своему любил сына. Замечая его необыкновенную даровитость, раннее и быстрое развитие способностей, старик не скрывал от сына своих восторгов, любил иногда похвастаться им и перед чужими, приходившими к нему в гости и по делу. По-своему любил отца и сын. Но это была не столько любовь, сколько холодное почтение по чувству долга. Так, ниже мы увидим, что мальчик подвергал критике отношения старика к нему, и не всегда одобрительной, а порой дело доходило и до сомнений в любви отца к нему. Так, после смерти матери в письме к одному родственнику (15 апреля 1854 г.) он между прочим говорит: «Поверишь ли, я часто желал знать, что думает обо мне, какие намерения касательно меня имеет отец мой, *какие чувства он питает ко мне…»*

Совсем иначе любил он мать.

«О матери, – пишет он далее в том же письме, – никогда мне в голову этого не приходило; я знаю, что душа ее раскрыта передо мною, что в ней я найду только беспредельную любовь, заботливость и полное желание счастливой будущности… Теперь уже никто не взглянет на меня таким взглядом, полным беспредельной любви и счастия, никто не обоймет меня с такой простодушной лаской, никто не поймет моих внутренних, мелких волнений, печалей и радостей… Знаешь ли, что во всю мою жизнь, сколько я себя помню, я жил, учился, работал, мечтал всегда с думой о счастии матери! Всегда она была на первом плане: при всяком успехе, при всяком счастливом обороте дела я думал только о том, как это обрадует маменьку…»

В найденной же в его бумагах записке, несколько недель спустя после смерти матери, он пишет:

«От нее получил я свои лучшие качества, с ней сроднился я с первых лет своего детства; к ней летело мое сердце, где бы я ни был; для нее было все, что я ни делал».

И действительно, не только нравственным закалом, но и первым пробуждением умственных способностей Добролюбов всецело был обязан матери. Уже трех лет с ее слов он заучил несколько басен Крылова и прекрасно декламировал их перед домашними и чужими. Она же выучила его и читать, да, кажется, и писать. Когда ему пошел девятый год, приглашен был в учителя для него кончивший курс семинарии Садовский; но занимался с

ним не более двух месяцев, так как поступил в священники. Тогда был приглашен воспитанник семинарии философского класса, Михаил Алексеевич Костров, впоследствии женившийся на сестре Добролюбова, Антонине Александровне.

«Пойдя к нему в учителя, – рассказывает Костров в своих воспоминаниях о Добролюбове, – я старался, во-первых, заохотить его к учению, чтобы *«учиться»* обратилось для него в главную и насущную потребность; а во-вторых, – доводить его до ясного, по возможности полного и отчетливого понятия о каждом предмете, не слишком заботясь о буквальном заучивании им уроков (конечно, при обучении латинскому и греческому языкам приходилось ограничиваться только, впрочем, совершенно достаточным, знанием всяких правил грамматических и синтаксических). Покойная мать его не раз тут замечала, что из нашей классной комнаты почти только и слышно: «почему», «отчего» да «как» и т. д. Отец его, видя, что сын, при своей отличной восприимчивости, при усердии и любознательности, оказывал отличные успехи и что вообще наше учение идет в порядке, не мешал нам и свободно предавался своим служебным и хозяйственным занятиям, только иногда наведывался узнать об его успехах и задавал ему те или другие вопросы, по тому или другому предмету. Таким образом наше учение продолжалось около трех лет, если из этой цифры не исключать месяцев пяти или шести его болезней или моих каникул».

В 1846 году десятилетнего мальчика отдали в высший класс духовного училища. По воспоминаниям о Добролюбове его товарища М. Е. Лебедева, 12-15-летние ученики четвертого класса были неприятно поражены, что к ним привели в класс учиться десятилетнего мальчика. «Говорят, братцы, подготовлен хорошо, – рассуждали они. – А латинский как знает! Книг много у отца… Он уж Карамзина прочитал».

Начали присматриваться. Прежде всего оказалось, что мальчик очень нежный, барской наружности, с очень мягкими руками; увидали, что очень скромен и застенчив, как девочка, дичится всех, чуждается. В переменах классных и до прихода учителя ни с кем не якшается, а читает книжки, которые из дому носит. Книжки были все по предметам, проходимым в классе. В этом классе уже начиналось изучение латинского синтаксиса. Учитель, преподававший его весьма дельно, хотя и с мерами строгими до жестокости, задавал переводы с русского языка на латинский таким манером, что сам назначал только немногие латинские слова и фразы, наиболее трудные, а остальные приискивались самими учениками. Тогда-то Добролюбов поразил всех новостью: самостоятельно фразируя некоторые примеры,

насколько знал латинский язык, он вставлял в данные сентенции совершенно новые мысли, так что с первого же ответа получил отметку наставника ter optime;[1] следующие отметки были: exemie, ter exernie[2] и ниже uptime[3] никогда не спускались. Кроме того, наиболее замечательные из его упражнений учитель с искренним удовольствием читал и разбирал в классе при всех. Успех этот был поразителен: первые ученики бросались за ним в погоню. Изучение латинского языка сделалось весьма интересным (конечно, только для меньшинства и для учителя). Пытались объяснить сначала успех Добролюбова посторонней помощью, но скоро разубедились. Когда учитель заставлял в классе учеников «фразировать» по-латыни своими словами из Корнелия Непота и «Латинской хрестоматии», то Добролюбов постоянно отличался при всех. Наконец и собственные опыты его подражателей уверили, что это возможно и без посторонней помощи. С таким же успехом Добролюбов занимался священной историей, географией, арифметикой и другими науками, занял повсюду № 4 в списках и в 1848 году перешел во 2-е отделение словесности (низшее отделение семинарии, по множеству воспитанников делившееся на два параллельных отделения).

Тихо, монотонно, однообразно потекли семинарские годы Добролюбова, принося очень мало радостей и массу домашних невзгод, которые столь часты в семействах среднего круга, где глава дома, занятый с утра до вечера насущными трудами и работами, приходит домой поздно, усталый, угрюмый и на домочадцах вымещает неприятности, которые в течение дня ему пришлось испытать при исполнении обязанностей; где ежедневно и ежечасно всплывают мелкие дрязги, попреки и черные мысли о нерадостном настоящем и темном будущем; где на каждом шагу найдется то какое-нибудь унижение, то лишение. Чтобы читатель мог составить ясное и полное понятие о детстве Добролюбова, мы приведем описание одного дня из оставшегося после Добролюбова дневника, и день этот бросает яркий свет на все детство тем более, что он новогодний, в котором домашняя обстановка принимает более парадный и праздничный вид.

«2 *января 1852 г.* Вот и еще один год «юркнул в вечность»! И еще год прошел, и еще годом сократилась жизнь моя. Грустно встретил я этот год, которого ждал я, можно сказать, с нетерпением. Много я надеялся на него и от него. Но вот пришел он, и при самом вступлении его надежды мои рассыпаются прахом. Грустно, невесело!.. Тяжелый день провел я ныне. Теперь (12 часов вечера) на дворе «бушует ветер, злится буря, свистит и воет буран», и это довольно близко к состоянию души моей. Я не сделал ныне ничего доброго и полезного. Встречая Новый год, не

хотел я спать всю ночь, но в два часа «лег полежать» – не больше, – и задремал, и уснул… а свеча осталась на столе непогашенная, а книга лежала раскрытая. К счастью, огарок был невелик, и, вероятно, скоро догорел и погас сам собой. Впрочем, может быть, погасила и няня. Я не говорил об этом ни слова, но целое утро был в каком-то смущении. Наделал было я дела, – подумал я, проснувшись, и прямо бросился в другую комнату к столу, свече и книге и, нашел все в целости, немало был удивлен и еще более обрадован… Потом я поздно пришел к обедне, простоял у порога, сконфузился при исполнении нелепой фантазии, пришедшей мне в голову, поздравить в церкви А. Н. Ник., которая мне только кивнула на мое приветствие, и ушел, не достояв молебна. Потом вздумалось мне идти поздравить мать крестную Л. В. П.; я пошел, встретил сухой прием, проскучал лишние полчаса в жизни, был раздосадован невниманием к себе, получил поручение, которое потом забыл исполнить, и не знаю еще – как отделаюсь!.. Дома оскорбил маменьку, но вскоре помирился. В половине шестого пошел к одному из товарищей, хорошему знакомому В. В. Л., просидел там часа два ни скучно, ни весело, хотя смеялся очень много… Оттуда мне чрезвычайно хотелось, необыкновенно хотелось побывать у постояльцев наших Щ. и поиграть там с их прекрасными детьми… особенно одна… Там бывает так весело! Все это думал я дорогой; но дома ждало меня достойное заключение этого чудного дня… Нужно было случиться, чтобы у нас в этот день сбежала со двора наша корова… Папенька и так ныне был довольно в худом расположении духа по некоторым обстоятельствам; но когда сказали ему об этом, он окончательно расстроился; и пришедши домой, я застал его в крайне мрачном расположении, особенно потому, что это случилось в Новый год и, следовательно, предвещало несчастие в будущем, – предрассудок, оказавший, однако, сильное влияние на папашу. К вящему несчастию, мамаша со старшей моей сестрой уехали к А. Н. Н. на вечер, папаша был один, и я должен был подвергнуться неприятностям. Сначала папаша пожалел о корове, побранил заочно работницу – за дело! – и принялся писать свои дела… Я подумал, что ждать мне больше нечего, взял свечку и пошел к себе в комнату. Но папаша позвал меня к себе и сказал, что «если б я мало-мальски радел отцу, жалел его, если бы у меня хоть немного было мозгу в голове, то я занялся бы этим делом, а не оставил бы без внимания, будто мне все равно, хоть все гори, все распропади…» После этого нечего было ждать ласкового слова. Я-таки испугался предстоящей сцены и поскорее, по приказанию папаши, сошел в кухню и расспросил кухарку об успехах ее поисков, которые были

совсем безуспешны. Узнавши это, я в точности донес папаше. Он стал что-то говорить, и вдруг, Бог весть как, разговор перешел ко мне, и тут-то я должен был выслушать множество вещей, которых теперь и не припомню в подробности. Но только главный смысл их был таков: «Ты – негодяй; ты не радеешь отцу, не смотришь ни за чем; не любишь и не жалеешь отца; мучишь меня и не понимаешь того, как я тружусь для вас, не жалея ни сил, ни здоровья. Ты – дурак, из тебя толку немного выйдет; ты учен, хорошо сочиняешь, но все это вздор. Ты – дурак и будешь всегда дураком в жизни, потому что ты ничего не умеешь и не хочешь делать. Вы меня не слушаете, вы меня мучаете; когда-нибудь вспомните, что я говорил, да будет поздно. Может, я недолго уж проживу. От таких беспокойств, тревог и неприятностей поневоле захочешь умереть; лучше прямо в могилу, чем этак жить. Ничего в свете нет для меня радостного; нигде не найду отрады; весь свет – подлец; все твои науки никуда не годятся, если не будешь уметь жить. Умей беречь деньгу; без денег ничего не сделаешь; деньги – ох! – трудно достаются: надо уметь и уметь приобретать их; как меня не будет, вы с голоду все умрете; никакие твои сочинения тебе не помогут. Из тебя ничего хорошего не выйдет; хило-гнило, хило-гнило; немного в тебе мозгу; а еще умным считаешься». – Все это, на разные манеры повторяемое, я слушал с 8 до 11 часов, ровно три часа… Каково это вынести? Не в первый и не в последний раз слышал я эти упреки, но ныне они особенно были ужасны для меня. Они продолжались три часа; прекратились не с сердцем, не в гневе, но очень спокойно, только в необыкновенно мрачном и грустном тоне. Я не видел никакого повода к такому обороту разговора, хотя большею частию и сознавал относительную справедливость высказываемых замечаний. Но все это ничего бы: особенно поразили меня упреки в нелюбви, нерадении к отцу, пророческие слова о том, что из меня ничего не выйдет; всего же более эти жалобы на свои труды и беспокойства, на то, что недолго ему остается жить. Чуть не плачу и теперь, припоминая это. Однако мне не хочется верить, и я не смею верить этим словам. Но когда папаша говорил, я не смел, я не мог произнести ни одного слова, если он сам не спрашивал меня: «Так ли?», на что я отвечал только: так… Я бы нашелся, что сказать; но у меня недоставало духу говорить… Не понимаю, что это такое. А папаше это, видимо, неприятно… Но что же делать? Не так, не так надо со мной говорить и обращаться, чтобы достигнуть того, чего ему хочется. Нужно прежде разрушить эту робость, победить это чувство приличия пред родным отцом, будто с чужим, смирить эту недоверчивость, и тогда уже явится эта младенческая искренность и простота… Впрочем, что винить

папашу! – я виноват, один я – причиной этого. Должно быть, я горд, и из этого источника происходит весь мой гадкий характер. Это, впрочем, кажется, у нас наследственное качество, хотя в довольно благородном значении… Однако чудный денек! Все так встречают Новый год, не правда ли?… Можно повеселиться!»

Такова грустная картина детства Добролюбова: провинциальная скука вне дома, оскорбительное невнимание и небрежность в обращении со стороны губернских «шутих», едва удостаивавших ничтожного и неловкого семинариста величественного кивка головы или сухого приема, а дома – ежеминутные ожидания какой-нибудь бури, невыносимых попреков и унизительных порицаний, полное безмолвие перед гневом отца и мучительное чувство отчужденности от него, заставлявшее мальчика тем крепче прижиматься к страстно любимой матушке, нежные ласки которой одни только скрашивали его жизнь. Ко всему этому следует прибавить отчужденность Добролюбова от большинства своих семинаристских товарищей. Будучи значительно младше своих соклассников, он по одному этому уже не мог участвовать ни в их буйных потасовках в низших классах, ни в кутежах – в высших. В то же время и товарищи чуждались его, смотря на него, как на своего рода аристократа среди них, так как он был сыном городского священника, пользовавшегося почетом у епархиального начальства, и в дом такого важного лица немногие семинаристы отваживались заходить, и не более трех-четырех из них бывали в гостях. Они имели случай не только удостовериться, что Добролюбов не был букой, гордым и т. п., но и сами могли в его обществе и семействе стряхнуть со своих костей семинарскую дикость. Впрочем, был один из сотоварищей Добролюбова, некто В.Л., с которым, судя по свидетельству самого Добролюбова в своем дневнике, он состоял в более близких и интимных отношениях, настолько подчинялся его влиянию, что, по собственным словам, боялся его, замечал каждое его слово, которое могло иметь отношение к нему, не смел противоречить его мнениям, любил выставлять себя перед ним с хорошей стороны и прочее. Но надо полагать, что это влияние не было особенно благотворным. По крайней мере, вот что пишет в своем дневнике Добролюбов, с радостью говоря об избавлении своем от этого влияния:

«Чудное дело, как подумать, что значит школьный товарищ. Не сойдись я с ним, – я уверен, что мое развитие пошло бы совершенно иначе. Я-то на него, конечно, не имею влияния, но он на меня – довольно значительное. Не могу еще решить, хорошо или худо было это влияние, но оно состояло вот в чем: он научил

меня, по природе серьезного, смеяться над всем, что только попадется в глаза; он заставил меня, человека довольно основательного и надменного, смотреть на предметы поверхностно, произносить о них суждение, посмотревши только форму и не касаясь содержания; из ума моего он сделал остроумие, из презрения многому – насмешку над этим многим, из внимательности – находчивость. Быть может, это мне и пригодится; но теперь это дурно, не говоря уже о том, что от этого страждет теперь мое необъятное самолюбие».

Однообразная, монотонная и замкнутая жизнь, чуждая каких бы то ни было развлечений, еще более способствовала тому, что с каждым годом Добролюбов все более и более зарывался в книги. В доме отца он нашел библиотеку, состоявшую из 400 томов, в которой, помимо книг богословского или религиозно-нравственного содержания, было немало и светских, между прочим «Всеобщая история» Милотта, «Естественная история» Двигубского, «Энциклопедический словарь» Плюшара, «Опытный человек» Попе, «О разуме законов» Монтескьё, «О множестве миров» Фонтенеля. С жадностью накинулся юноша на все эти книги, доставая их сверх того и со стороны, по случаю; читал он, помимо ученых сочинений и русских авторов, и журналы. В его упражнениях по классу риторики и пиитики постоянно было вредно знакомство с лучшими русскими литераторами, на что и обращал внимание учитель словесности. В упражнениях по всеобщей истории была видна также начитанность. Его возражения, например, по математике профессору-монаху, его критика учебника истории Кайданова были выслушиваемы учениками с участием, которое возрастало, когда профессор не находил возражений, а заминал их своим авторитетом, невозможностью распространяться по причине недосуга и другими уловками. В среднем отделении семинарии Добролюбов поражал всех громадными сочинениями в 30, 40 и 100 страниц на философские темы, а отчасти и из русской церковной истории.

Не ограничиваясь этими классными сочинениями, Добролюбов рано, уже в 13 лет, обнаружил страсть к авторству, конечно, в виде писания стихов, причем он между прочим переводил Горация. В 1850 году он даже решился послать в «Москвитянин» письмо, прося у редакции 100 рублей и обещая за них прислать 40 стихотворений. «Это, – пишет он в дневнике, – давно лежит у меня на совести; и если когда-нибудь выведут меня на чистую воду, то я не знаю, что еще может быть для меня стыднее этого…» Затем в 1852 году он послал в редакцию «Сына отечества» 12 стихотворений под псевдонимом Владимира Ленского. Написал он в том же году три статейки для

«Нижегородских ведомостей». Но, по его словам, «одну цензор не пропустил – невиннейшую статью о погоде; другие две, кажется, сгибли у редактора, по крайней мере, доселе (т. е. до 20 января 1851 года) остаюсь для них, т. е. они для меня остаются во мраке неизвестности».

Между тем шло своим путем и внутреннее развитие Добролюбова, проходя те фазы, какие в то время переживали все люди его поколения. Так, первым выходом из детской непосредственности были религиозная экзальтация и суровый аскетизм, в какие вдался Добролюбов с 17-летнего возраста. В этом сказывалось стремление пробуждающегося ума отнестись сознательно, серьезно осмыслить то воспитание в духе религиозного благочестия, какое получил Добролюбов в доме своих патриархальных родителей и в семинарии. Так, по словам Кострова, он был самым набожным человеком в Нижнем, считал за грех напиться чаю в праздничный день до обедни, после исповеди до причастия даже воды не пил, всегда молился усердно и с глубоким чувством. Во время говенья в марте 1853 года он вел весьма любопытный дневник своих прегрешений под заглавием «Психоториум», т. е. углубление в душу:

«*7 марта 1853 г.* 1-й час пополудни. Ныне сподобился я причащения пречистых Тайн Христовых и принял намерение с этого времени строже наблюдать за собой. Не знаю, будет ли у меня сил давать себе каждый день отчет в своих прегрешениях, но, по крайней мере, прошу Бога моего, чтобы Он дал мне положить хотя начало благое. Боже мой! Как мало еще прошло времени и как много лежит на моей совести! Вчера, во время самой исповеди, я осудил духовника своего и потом скрыл это, не покаялся; кроме того, я сказал не все грехи, и это не потому, что позабыл их или не хотел, но потому, что не решился сказать духовнику, что еще рано разрешать меня, что я еще не все сказал. Потом я сетовал на отца духовного, что он не о многом спрашивал меня; но разве я должен ожидать вопросов, а не сам говорить о своих прегрешениях? Только вышел я из алтаря – и сделался виновен в страхе человеческом, затем человекоугодие и, хотя легкий, смех с товарищами присоединились к этому. Потом суетные помышления славолюбия и гордости, рассеянность во время молитвы, леность к богослужению, осуждение других увеличивали число грехов моих…»

Этот ежедневный список «прегрешений» с благочестивыми укоризнами себе вел Добролюбов с 7 марта до 9 апреля, так что набралось целых 32 страницы за эти 34 дня. Все они, разумеется, похожи один на другой; вот, например, 29 страница «Психоториума»:

«4 *апреля, 12-й час пополудни.* Опять те же грехи в эти два дня: леность к молитве, рассеянность и легкомыслие, осуждение и насмешка, неприязнь к ближнему, вольные суждения, ложь, хитрость и притворство, призывание лукавого, честолюбие и славолюбие, предание чувственности, чревоугодие и лакомство» и т. д. Список этих прегрешений заключается словами: «Господи! Спаси мя, не остави мене погибающа!»

Но аскетизм и самобичевания не были, конечно, исключительным содержанием жизни Добролюбова. Рядом с этим духовно-нравственным возбуждением шли разного рода впечатления и влияния, навеваемые и книгами, и жизнью. Так, рядом с перечислениями «прегрешений» Добролюбов, по его собственным словам, «хотел походить на Печорина и Тамарина, хотел толковать, как Чацкий». Вместе с тем, читая списки грехов, вы видите в числе их первые проблески тревожных сомнений, которые все более и более начинают овладевать юношей, и тщетно он гонит их от себя. Начинается для него период рефлексий и романтических порывов. Как мы видели в описании 1 января 1852 года, у него была уже какая-то «одна», провести вечер в обществе которой ему было особенно приятно. В то же время с презрением и ненавистью начинает смотреть юноша на всю окружающую его пошлость губернской жизни. «Все пошло, глупо, мелко, – восклицает он в своем дневнике, – ничто не удовлетворяет порывов высокого ума, глубоко чувствующего сердца…»

Голова его, между тем, наполняется мечтами об университете, о литературной славе, и вместе с тем он страстно привязывается к учителю немецкого языка Ивану Максимовичу Сладкопевцеву. Привязанность эта, имевшая, конечно, реальные основания в виде благотворного влияния Сладкопевцева на развитие юноши, тем не менее носила вполне романтический характер, соединяясь с той безотчетной влюбчивостью в своих любимых наставников, какую нередко испытывают 17-летние мальчики. Так, Добролюбов, еще не видав Сладкопевцева, успел уже заочно влюбиться в него по одним слухам, распространивши свое обожание даже на внешность предмета любви.

«Смутно я постигал что-то прекрасное, – говорит он в письмах Сладкопевцеву, – в этом соединении понятия: брюнет, из петербургской академии, молодой, благородный и умный… Не говоря уже об уме и благородстве, надо заметить, что я особенно люблю брюнетов, уважаю петербургскую академию и молодых профессоров предпочитаю старым. Я с нетерпением ждал минуты, когда увижу вас, и во все это время я чувствовал что-то особенное… Чего ищешь, то обыкновенно скоро находишь; на

следующий же день я с полчаса прогуливался по нижнему коридору и дождался-таки вас. Правду сказать, при моей близорукости я не мог хорошо рассмотреть вашей физиономии; но и один беглый взгляд на вас достаточен был, чтобы произвести во мне самое выгодное впечатление. Я люблю эти гордые, энергические физиономии, в которых выражается столько отваги, ума, мужества. Признаюсь, я несколько ошибся, когда признавал вас существом гордым и недоступным; но это было тогда полезно мне тем, что я стал с того времени считать вас чем-то высшим, неприступным, перед чем я должен только благоговеть и смиренно посматривать вслед, жалея, что не могу взглянуть прямо в глаза».

Это благоговейное «смотрение вслед» продолжалось около года. Все это время юноша обожал своего учителя издали, не смея и думать сблизиться с ним, издали радовался и печалился, боялся и стоял горой за своего кумира. Когда случай наконец свел его со Сладкопевцевым, он шел к нему с тем трепетом, с каким идут на первое свидание. Познакомившись с учителем, Добролюбов еще более привязался к нему.

«Что-то особенное привлекало меня к нему, – пишет он в своем дневнике, – возбуждало во мне более чем привязанность – какое-то благоговение к нему. При всей короткости наших отношений я уважаю его, как не уважал ни одного профессора, ни самого ректора или архиерея, – словом, как не уважал ни одного начальника. Ни одним словом, ни одним движением не решился бы я оскорбить его, просьбу его я считал для себя законом. Вздумал бы он публично наказать меня, я послушался бы, перенес наказание, и мое расположение к нему нисколько бы от того не уменьшилось… Как собака, я был привязан к нему и для него я готов был сделать все, не рассуждая о последствиях и т. д.».

Но блаженный мир золотых мечтаний о славе, науке, университете и упоение бескорыстного детского обожания – все это вскоре было разрушено самым безжалостным образом суровым холодом жизни. Первыми рассеялись мечты об университете, встретившие решительный отпор со стороны отца.

«Мне непременно, – пишет он в дневнике, – хотелось поступить в университет. Папенька не хотел этого, потому что при его средствах это было невозможно. Но он не говорил мне этого и представил только невыгоды университетского воспитания и преимущества академического. Тогда этого рода доказательствами меня невозможно было убедить; я был непоколебимо уверен, что если могу где-нибудь учиться в высшем заведении, то это только в университете. Но между тем я видел ясно, что для моего отца действительно очень трудно, почти

невозможно было содержать меня в университете. Конечно, будь я порешительней, я бы объявил, что хочу этого и что проживу там на 50 целковых в год, только бы учиться в университете. Но я не хотел и не мог этого; решительного объяснения не было, а во мне кровь кипела, воображение работало, рассудок едва сдерживал порывы страсти. Счастье или несчастье мое, что у меня нет крепкой воли!.. А то бы наделал я дела. Теперь уже случилось так, что по пословице – „сила есть да воли нет“, – и все дело окончилось тем, что я раза три поговорил с родными, так грустно и жалобно, с таким отчаянным видом, который, однако ж, никого не тронул, – походил несколько времени повеся нос, помурлыкал про себя Кольцова *«Долго ль буду я сиднем дома жить»,* да *«Путь широкий давно»,* да из Лермонтова *«Не верь себе»* и «В *минуту жизни трудную»,* да еще из Баратынского: *«Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти…».* Жутко было мне тогда; но наконец папенька сказал, что мое желание выполнить невозможно, что тысячу рублей ассигнациями в год он мне определить не может, а меньше нельзя. Больше он слушать ничего не хотел, как ни уверял я его, что половины этой суммы для меня слишком достаточно. И как только сказали, что этого нельзя, я успокоился, потому что добиваться невозможного я никогда не стараюсь. И стихи Гете: *«невозможное возможно человеку одному»* – не для меня написаны…»

Мечты об авторстве и литературной славе, в свою очередь, начали колебаться:

«Главным образом, – пишет Добролюбов в дневнике, – соблазняет меня авторство, и если мне хочется в Петербург, то не по желанию увидеть Северную Пальмиру, не по расчетам на превосходство столичного образования, – это все на втором плане, это только средство. На первом же плане стоит удобство сообщения с журналистами и литераторами. Прежде я безотчетно увлекался этой мыслью, а теперь уже начинаю раздумывать, что *«то кровь кипит, то сил избыток».* Надежда на журналистов для меня очень плоха, потому что, не доучившись год в семинарии, я в академии должен буду заниматься очень сильно, и времени праздного у меня не будет, и притом я не знаю новых языков, следовательно, переводное дело уже не по моей части, а иначе как начать?… Подумаешь, подумаешь, пишешь стихотворение *«Мучат сомнения душу тревожную»,* а потом опять какая-то апатия нападет на душу, как будто это до меня и не касается…»

Вместе со всем этим претерпела жестокое испытание и привязанность Добролюбова к Сладкопевцеву. Последнего перевели в Тамбов, и эта утрата довела Добролюбова до крайней степени отчаянья и ожесточения.

«Боже мой! – пишет он в дневнике. – Люди пристращаются к красотам природы, к картинам, статуям, деньгам, и они не имеют препятствий для наслаждения ими. Все эти вещи могут принадлежать им, быть их неотъемлемой собственностью, если только не принадлежат всем, что также не мешает всякому насладиться ими… Чем же виноват я, что привязываюсь к человеку, превосходнейшему творению Божию? Чем я несчастлив, что моя душа не любит ничего в мире, кроме такой же души? Ужели преступление то, что я инстинктивно отгадываю ум, благородство, доброту человека и, отгадавши, всеми силами души привязываюсь к нему? И за что же наказывать меня, за что отнимать у меня счастье, когда оно так чисто, невинно, благородно? Сколько ни имей я привязанностей, всегда злая судьба умчит от меня далеко любимый предмет, и в душе – тоскливое воспоминание и горькое сознание своего отчаяния… Я рожден с чрезвычайно симпатичным сердцем: слезы сострадательности чаще всех, бывало, вытекали из глаз моих. Я никогда не мог жить без любви, без привязанности к кому бы то ни было. Это было так, что я себя не запомню. Но эта постоянная насмешка судьбы, по которой все мои надежды и мечты обыкновенно разлетались прахом, постоянно сушит и охлаждает мое сердце, и нет ничего мудреного, что скоро оно будет и твердо, и холодно, как камень. Вот хоть бы и теперь – что вдруг понадобилось Ивану Максимовичу в Тамбове? Чем ему нехорошо здесь? Что за обстоятельства? А между тем я страдаю, и еще как страдаю, – тем более, что мне этого ни перед кем нельзя высказать: все станут смеяться. Я бешусь только внутренне и произношу тысячу проклятий. Но какие проклятия, какие слова выразят то, что я чувствую теперь в глубине души моей. Я пробовал все энергические восклицания русского народа, которыми он выражает свои сильные ощущения, но все, что я знаю, – слабо, не выражает… и я по-прежнему взволнован, и по-прежнему в душе моей кипит и бурлит страшное беспокойство. Я теперь наделал бы черт знает что, весь мир перевернул бы вверх дном, выцарапал бы глаза, откусил бы и пальцы тому, который подписал увольнение Ивана Максимовича. Но, увы! Это ни к чему не поведет, и мне остается только стараться смирить свои бешеные порывы…»

Все эти разочарования привели Добролюбова к мучительному сознанию своего ничтожества перед обстоятельствами, которые как будто нарочно смеялись над ним, разрушая в прах самые заветные мечты его и вертя им по какому-то слепому произволу. Тяжелое уныние и апатия были следствием этого сознания:

«Я совершенно опустился, – пишет Добролюбов об этом своем

состоянии, – ничего не делал, не писал, мало даже читал… Что-то такое тяготило меня и, указывая на всю суету мирскую, говорило: К чему? Что тебя здесь ожидает? Тебе суждено пройти незамеченным в твоей жизни, и при первой попытке выдвинуться из толпы, обстоятельства, как ничтожного червя, раздавят тебя… И ничего ты не доделаешь, ничего не можешь ты сделать, несмотря на всю твою самонадеянность, и припомнился мне желчный стих Лермонтова: «*Не верь, не верь себе, мечтатель молодой!»*

Это был кризис, после которого энергия воскресла с новой силой и напряженностью, но это была энергия не романтических порывов/ а сознательной борьбы с гнетущими обстоятельствами. Юноша впервые трезво взглянул на свое положение и сознал, что даром ему ничего не дастся, что достигнуть чего-нибудь он может только усидчивым, кропотливым трудом, и в нем появились первые проблески нового идеала – идеала положительного труженика, который, энергично стремясь к высоким целям, не пренебрегает в то же время материальными условиями жизни, сознает их неотразимость и старается принимать их в соображение при каждом своем шаге:

«Тогда я все собирался ехать в университет, – пишет он об этой перемене в начале 1853 года, – и между тем ничего не делал: нынче мои предположения определеннее, и я готовлюсь их выполнить. Тогда мне представлялось, что в университете лучше учиться, чем в академии. Но я считал тогда совершенно излишним думать о том, что будет по окончании курса; теперь я подумал об этом и нашел, что разница между тем и другим самая малая, а между тем сберегается в четыре года около 100 рублей серебром – вещь немаловажная. Кроме того, заметно даже мне самому (впрочем, это не диво: я люблю наблюдать над собой), что я сделался гораздо серьезнее, положительнее, чем прежде. Бывало, я хотел все исчислить, все понять и узнать: науки казались мне лучше всего, и моей *страстью к книгам я* хотел доказывать – для самого себя – бескорыстное служение и природное призвание к науке. Ныне я в своих мечтах не забываю и деньги и, рассчитывая на славу, рассчитываю вместе на барыши, хотя не могу еще отказаться от плана – употребить их опять-таки для приобретения новой славы. Страсть мою к книгам я не называю нынче влечением к науке, а настоящим ее именем, и вижу в ней только признак того, что я большой библиофил, потому что я люблю книги, какого бы рода они ни были, и сгораю желанием, увидя книгу, не узнать то, что в ней написано, но только узнать, что это за книга, какова и прочее. Самому чтению какой бы то ни было книги я большею частью предаюсь только

для удовольствия сказать себе: читал то и то; эта и другая, и третья, и десятая книга мне известны… Поэтому-то я так люблю ныне читать журналы и преимущественно отдел библиографии и журнальные заметки. Недавно присоединилось сюда и другое побуждение: я читаю чаще для того, что это пригодится на приемном экзамене. Далее я пока не простираюсь. Литературные цели мои достигаются пока только записываньем, списываньем и писаньем».

Замечательное влияние на этот кризис имело чтение Добролюбовым беллетристов 40-х годов – влияние, которого не избегали в те годы все сверстники Добролюбова. Изображения сентиментальных мечтателей вроде Адуева или бесхарактерных и безвольных Гамлетов вроде Вихляева, Шамилова и прочих, спускали молодых людей из заоблачных высот на землю, возбуждали их молодую энергию к развитию в себе характера и воли. То же самое испытал и Добролюбов:

«В начале прошлого года, – пишет он все о том же своем возрождении, – я как-то все сбивался; хотел походить на Печорина и Тамарина, хотел толковать, как Чацкий, а между тем представлялся каким-то Вихляевым и особенно похож был на Шамилова. Изображение этого человека глубоко укололо мое самолюбие, я устыдился, и если не тотчас принялся за дело, то, по крайней мере, сознал потребность труда, перестал заноситься в высшие сферы и мало-помалу исправляюсь теперь. Конечно, много здесь подействовало на меня и время, но не могу не сказать, что и чтение „Богатого жениха“ также способствовало этому. Оно пробудило и определило для меня давно спавшую во мне и смутно понимаемую мною мысль о необходимости труда и показало все безобразие, пустоту и несчастие Шамиловых. Я от души поблагодарил Писемского. Кто знает, может быть, он помог мне, чтобы я со временем лучше мог поблагодарить его…»

Прямым следствием этого пережитого в 17 лет кризиса было то, что Добролюбов почувствовал себя выросшим из рамок семинарского учения и далее оставаться в семинарии сделалось для него немыслимо. Так как отец Добролюбова наотрез отказал сыну в поступлении в университет, то Добролюбов решил поступить в петербургскую Духовную академию. На это дело старик согласился легче; не было возражений о трудности учиться, ни о возможности поступить туда; сказано было только несколько слов о его молодости, но юноша убедил, что молодому легче учиться, и дело было слажено.

Лебедев свидетельствует, что в 1853 году был вызов из богословского класса (высшее отделение семинарии) в петербургскую Духовную академию и что отправили двоих, в том

числе Добролюбова. Но это сомнительно. Если и был такой вызов в 1853 году, то он мог касаться лишь воспитанников, кончивших в том году семинарский курс. По крайней мере, Добролюбов ни слова не говорит ни о каком вызове, а дело представляет в таком виде, что после долгих колебаний были написаны Добролюбовым две просьбы: одна – к обер-прокурору Святейшего Синода, графу Протасову, другая – местному архиерею. 13 марта 1853 года прошение Протасову было отправлено в Петербург, а 4 августа Добролюбов выехал туда в сопровождении товарища своего Ивана Гавриловича Журавлева, который, как оказалось, один только ехал в Духовную академию по вызову.

Глава II

Поступление Добролюбова в педагогический институт. – Занятия его и отношения с профессорами и товарищами. – Потеря матери и отца и последствия ее

Трогательное впечатление производит первое письмо Добролюбова к своим родителям, писанное дорогой, в Москве 6 августа, рисующее юношу нежным «маменькиным сыночком», только что оперившимся и вылетевшим из родительского гнезда птенцом.

«Воображаю, милые мои папаша и мамаша, – пишет он в этом письме, – с каким мучительным беспокойством смотрели вы вслед удалявшемуся дилижансу, который оторвал меня от родимого края. Вас тревожила не столько горесть расставанья, сколько страх грядущих неприятностей, которые могли встретиться со мной на неведомом пути. Но Бог, которому молились так усердно все мы, и особенно вы, мамаша, милосердый Бог сохранил меня цела и невредима…»

Снарядив в дальнюю дорогу милого сынка, заботливая матушка не преминула снабдить его целым ворохом всякого рода печений и варений, и Добролюбов в том же письме считает нужным сообщить, что «до самой Москвы мы продовольствовались почти одним домашним запасом, а чаю, я полагаю, и в Петербурге мне не выпить: ужасающее количество; мятных лепешек станет на целую вечность, по замечанию Ивана Гавриловича».

Успокоив таким образом заботливость своей матушки, без сомнения, тревожившейся, хватит ли сынку запасов на дорогу и не пришлось бы ему прохарчиться, Добролюбов затем обращается к папаше, которому тоже знает чем угодить: ему он сообщает, как он лазил на колокольню Симонова монастыря и ходил с товарищем в Новоспасское принять благословение высокопреосвященного Филарета. «Он еще свеж, – сообщает Добролюбов, – сед меньше вас, папаша, но говорить едва может как следует в церкви. Я стоял от него через три человека и едва мог расслушать некоторые слова из Евангелия, которое он читал

на молебне».

Из Москвы Добролюбову пришлось впервые в жизни ехать по железной дороге, и во втором письме домой, уже из Петербурга, он простодушно признается, что в Нижнем представлял себе вагон просто экипажем, а каково же было его удивление, когда вагон оказался маленьким «четвероугольным домиком», настоящим ноевым ковчегом, состоящим из одной большой комнаты, в которой наделаны скамейки для пассажиров.

По приезде в Петербург Добролюбов первым делом испытал неприятность, какой приходится подвергаться многим таким же неопытным провинциалам. Когда вышли они с товарищем из вокзала, лил дождь, осенний, мелкий, частый. Наняли извозчика за 25 копеек серебром до Духовной академии. Смотрят, довез их извозчик до Казанского моста и остановился: «Здесь», – говорит. Спрашивают будочника, где найти академию (а Добролюбов уж знал, что у Казанского моста нет ее); будочник указал им, и их привезли на Васильевский остров, условившись, что еще четвертак должны они отдать извозчику. Приехали– смотрят: Академия художеств!..

– Что ты за болван, братец мой! – восклицает Добролюбов. – Куда ты меня завез?

– Да куда же, сударь! Мы только и знаем, что одну Микодемию; разве еще есть какая?

Делать нечего, растолковали кое-как, что Духовная академия и Невская лавра значат то же, что Невский монастырь, и что тут же – Невский проспект. Извозчик понял наконец, но очень основательно начал доказывать, что, провезши их за полтинник, он не иначе может довезти обратно, как за полтинник же. Дождик продолжал лить, чемоданы были довольно тяжелы, пришлось согласиться. В этом факте Добролюбов впоследствии видел предзнаменование того, что ему суждено учиться не в Духовной академии, а в педагогическом институте, и отмечал его в письме к родителям даже как указание свыше…

В академии Добролюбов повидал всех земляков, сходил в академическую столовую, ко всенощной, после чего был представлен инспектору, и тот сообщил ему, что до окончания экзаменов он должен жить на частной квартире. Земляки уже заранее подыскали ему комнатку недалеко от академии за три рубля серебром в месяц; стол же ему хозяин квартиры согласился давать за 35 копеек в день.

Думал ли Добролюбов, когда переносил свои бедные семинарские пожитки в нанятое помещение, что случайный наем комнатки имел роковое значение в его жизни, перевернул всю его дальнейшую судьбу. В сущности, это была не отдельная комнатка,

а лишь часть ее, то, что называется у нас «угол». В другом углу той же комнаты поселился студент педагогического института – один из тех, которые год назад поступили в институт, не выдержав экзамена в академию. Студент поселился в углу на время, так как приехал из провинции раньше окончания каникулярного срока, в то время как никуда не уезжавшие жили еще на казенной даче. Вот с этой самой дачи пришел к нему товарищ и сообщил: «В институте, брат, слезы: на 56 вакансий явилось только 23 человека, и из числа их только 20 могли быть допущены к экзамену, потому что из трех остальных одному 18 лет, другому -14, третий – какой-то отчаянный. Через несколько дней еще был экзамен: явилось пять человек, и все приняты почти без экзамена».

Это известие привело Добролюбова в волнение. Педагогический институт во многом уступал университету, но все-таки как высшее заведение светского характера более улыбался ему, чем академия. К тому же казенное содержание студентов института отлично решало денежный вопрос, затруднявший ему поступление в университет. В то же время студенты института внушили Добролюбову, что ничто не мешает ему попытаться держать приемные экзамены в институт одновременно с академическими, так как институтское начальство допускает к экзаменам без предварительного представления документов. Если же отцу будут угрожать какие-либо неприятности со стороны духовного начальства из-за того, что сын поступил в институт вместо академии, то можно будет нарочно провалиться на академических экзаменах.

Известивши обо всем родителей, Добролюбов вечером 12 августа отправился к инспектору института А. Н. Тихомандритскому и спросил его, можно ли держать экзамен без документов, которые представит после, объяснил обстоятельно все дело и получил позволение явиться на экзамен 17 числа. В тот же самый день назначен был экзамен в академии. Поэтому вечером 16-го Добролюбов послал товарищу своему Журавлеву записку, что зубная боль препятствует ему быть на экзамене. На другой день пошел он в институт вместе с сыном вятского ректора. Там он прежде всего должен был написать сочинение на тему: «О призвании к педагогике». «И как написать что-нибудь дельное, – повествует он в письме к родителям, – на такую пошлую тему было трудно, то я и напичкал туда всякого вздору: и то, что я хорошо учился, и то, что я имею иногда страшную охоту научить кого-нибудь, и то, что мне 17 лет, и то, что мне самому прежде очень хочется поучиться у своих знаменитых наставников. Знаменитый наставник посмотрел сочинение, посмеялся, показал

другим и решил, что оно написано очень хорошо».

На экзаменах Добролюбов попал прежде всего к Лоренцу, который проэкзаменовал его по всей всеобщей истории и заключил: «Вы очень хорошо знаете историю!» Это ободрило юношу, и с веселым духом держал он испытания по другим предметам, а после них подошел к инспектору и спросил его: «Александр Никитич! Позвольте узнать, могу ли я надеяться поступить в институт! Иначе я могу еще теперь обратиться в академию».

Инспектор вместо ответа развернул список и, показав экзаменующемуся его баллы, довольно высокие, сказал: «Помилуйте, а это что же!»

Затем 20 августа было другое испытание. В этот день поутру Добролюбов спросил инспектора, не нужно ли представить документы. Тот отвечал:

– Вы только держите экзамены так, как начали, и все будет хорошо. Об этом не беспокойтесь!..

По окончании экзаменов инспектор поздравил Добролюбова с поступлением. На другой день был докторский осмотр поступающих. Добролюбов оказался здоровым, и с этой стороны препятствий к поступлению не было. «Затем в этот же день, – повествует далее Добролюбов в том же письме, – 21 числа позвали нас в конференцию, и директор прочитал: „Принимаются такие-то безусловно“. Таких нашлось человек 12; меня не было. „Без благословения родителей нет счастья“, – подумал я. Но директор начал снова: „Затем следуют те, которые хотя оказались хорошими, даже очень хорошими по всем предметам, но слабы или в немецком, или во французском языке, и потому (тут, можете себе представить, он остановился и закашлялся; я задрожал) могут быть приняты только с условием, что они к первым зимним праздникам окажут свои успехи в этих языках!“ В этот разряд попала большая часть семинаристов, и я первый».

Каково же было разочарование Добролюбова, когда, вернувшись из института домой, он нашел письмо, в котором отец, не одобряя его самовольного поступка, писал ему, что если он не поступит в академию, хотя бы даже последним, он осрамит и себя, и своих родителей, и семинарию, и что он не ожидал от него такого легковерия. Как велико было отчаяние юноши, об этом можно судить по следующему письму, отлично характеризующему отношение Добролюбова к родителям:

«Простите меня, мои милые, родные мои, панаша и мамаша, которых так много люблю и почитаю я в глубине души моей. Простите моему легкомыслию и неопытности! Я не устоял в своем последнем намерении, и письмо ваше пришло уже слишком

поздно – к вечеру того дня, в который поутру объявлен я студентом главного педагогического института. Не оправдал я надежд и ожиданий ваших, и – горе непослушному сыну! Тоска, какой никогда не бывало, надрывала меня эти два дня, и только Богу известно, скольких слез, скольких мук, бесплодного раскаянья стоило мне последнее письмо ваше!.. Горе же мне, несчастному своевольнику (читаем мы в заключение письма. – *Авт.*), без благословения родителей! Я чувствую, что не найду счастья с одной своей неопытностью и глупостью. Неужели же оставите вы меня, столь много любившие меня, так много желавшие мне всего доброго? Неужели по произволу пустите вы меня за мою вину пред вами! Простите, умоляю вас! Простите и требуйте, чего хотите, чтобы испытать мое послушание. Скажите слово – и я явлюсь тот же час из института, ворочусь в семинарию и потом пойду, куда вам будет угодно, хоть в казанскую академию. Лучше вытерпеть все муки раздраженного самолюбия, разбившихся надежд и несбывшихся мечтаний, чем нести на себе тяжесть гнева родительского. Я вполне испытал это в последние дни после получения вашего письма. Избавьте же меня от этого состояния, простите, простите меня… Я знаю, что вы меня любите… Не смею подписаться тем, чем недавно я сделался, чтобы не раздражать вас… Но все еще надеюсь, что вы позволите мне назваться сыном вашим. Добролюбов».

Но опасения каких-либо неприятностей, ожидавших будто бы отца Добролюбова от духовного начальства вследствие поступка сына, оказались напрасными. Архиерей отнесся к факту поступления Добролюбова в институт, напротив, одобрительно и высказал удовольствие успехом, с каким выдержал экзамен в высшее светское учебное заведение воспитанник семинарии, находившейся под его начальством. Вследствие этого отец Добролюбова сменил гнев на милость и послал сыну разрешение на поступление в институт, исполнившее его неописуемой радости и восторга.

Двадцать четвертого августа Добролюбов, забрав свои документы из академии, переселился в институт, чувствуя себя на седьмом небе. Первые впечатления, вынесенные им из института, были самые светлые. По крайней мере, жизнь свою в институте и все порядки он расписывал в письмах родным и знакомым радужными красками.

«В столовой нас кормят, – пишет он в одном из писем родственникам, – обыкновенно довольно хорошо: каждый день щи или суп, потом какой-нибудь соус – картофельный, брюквенный, морковный, капустный (этого я, впрочем, никогда не ем: как-то приторно и неприятно); иногда же вместо этого какие-

нибудь макароны, сосиски и т. п.; наконец, всегда бывают или пирожки, или ватрушки. По воскресеньям прибавляются еще в виде десерта слоеные пирожки. Все это не важная вещь, но хорошо то, что каждому ставят особый прибор, никто не стесняет, хочешь есть – подадут еще тарелку, словом, как будто дома! Это не то, что в академии, где, кажется, несколько человек вместе хлебают из общей чаши. Лекции здесь, кроме двух-трех, читаются превосходные. Директор очень внимателен, инспектор – просто удивительный человек по своей доброте и благородству. Начальство вообще превосходное и держит себя с воспитанниками очень близко. Например, недавно один студент говорил с инспектором, что ему делать с немецким языком, которого он не знает. Инспектор успокоил его; в это время подошел я, и он, указывая на меня, сказал: „Да вот вам, посмотрите, г-н Добролюбов тоже по-французски не знает, т. е. совсем не знает и не учился, а я уверен, что он будет у нас отличный студент, лучше этих гимназистов…“ Слыша такие отзывы, видя такую внимательность, невольно захочешь заниматься, и весело работаешь, зная, что труд не останется без вознаграждения. Да и труд-то по душе…»

В этом сказывается крайняя невзыскательность юноши, не избалованного бедной обстановкой жизни в родительском доме; с другой же стороны, желание всячески оправдать перед родителями свой поступок и показать им, что шаг, сделанный им, как нельзя более удачен и основателен. Этим же объясняются и все те места писем Добролюбова домой, в которых он геройски стоит за институт и старается всячески опровергнуть те слухи об упадке института, какие распространялись бывшими его воспитанниками. Так, в письме своему зятю М. А. Кострову от 11 сентября 1857 года он пишет между прочим:

«Скажите, пожалуйста, моим родным, чтобы они не верили различным нелепостям, рассказываемым каким-нибудь П. И. Н. Положим, что он 15 лет учителем, но тем не менее он ничего не смыслит касательно педагогического института. Желательно бы знать, например, на каких данных основано известие, что педагогический институт упадает, и в каком смысле должно понимать его? Что касается самого здания, то оно, могу вас уверить, стоит цело и невредимо, даже не покривилось ни на один бок. В отвлеченном смысле тоже, кажется, нельзя найти признаков упадка. Директор наш, И. И. Давыдов, давно уже известен ученостью своей и трудами. Профессора – все славные, и большею частью заслуженные; предметом своим каждый из них занимается наверное лучше какого-нибудь… Да и во всяком случае такие профессора, как Лоренц, Устрялов, Срезневский,

Благовещенский, Михайлов, Ленц, Остроградский и другие, не ударят лицом в грязь никакого заведения. Стало быть, упадок в учениках? Так это еще Бог весть, где они лучше – в академии или здесь. И сюда поступают многие семинаристы и во всяком случае могут украсить это заведение своими богословскими и философскими познаниями. Уверьтесь же, пожалуйста, и уверьте всех там, что моя особа ничего, ровно ничего не потеряла, попавши в институт, а не в академию, и что ежели и суждено когда-нибудь упасть институту, то я, по всей вероятности, не дождусь этого (разве будет сильное наводнение: он стоит на самом берегу Невы…)».

Решив свою участь поступлением в институт и добившись того, о чем мечтал в последний год семинарского курса, Добролюбов имел возможность наконец оглядеться вокруг себя и ближе познакомиться с городом, куда закинула его судьба. Но, как это часто случается у нас с выходцами из провинций, Петербург не особенно поразил его своими столичными красотами, и тщетно товарищи-семинаристы ждали от него пышных описаний; они даже заподозрили его в гордости и черствости, в чем и сам Добролюбов готов был заподозрить себя, как это мы видим из письма его к М. И. Благообразову от 11 сентября 1853 года.

«Жалею, право, что я такой черствый человек… Целый месяц в Петербурге, и ни строчки о нем не сказал никому в своих письмах. Я раз пять, десять, по крайней мере, прошел насквозь весь Невский проспект, гулял по гранитной набережной, переходил висячие мосты, глазел на Исаакия, был в Летнем саду, в Казанском соборе, созерцал картины Тициана и Рубенса, и все это произвело на меня весьма ничтожное впечатление. Только однажды вечером вид взволнованной Невы несколько поразил меня, и то более потому, что я стоял в это время на мосту, который колебался под моими ногами и будто двигался со своего места, так что я вздрогнул первый раз, как приметил это движение. Был я здесь в театре, видел Каратыгина, Мартынова, Максимова и др. Игра Каратыгина сначала заставила меня забыть, что я в театре и что это игра: так просто и естественно выходит у него каждое слово. Потому я не вдруг даже понял, как много таланта и труда нужно для такой игры: мне казалось это так просто, что не за что и хвалить Каратыгина. Уже по приходе домой раскусил я загадку…»

Этому равнодушию к красотам Петербурга много содействовала и тоска по родине, естественно овладевшая Добролюбовым, как только кончились все его хлопоты и мытарства с поступлением в институт и с освоением в новой

жизни. Он никому не открывал этой тоски, между тем она проглядывает во многих письмах к родным, начиная с самого обилия этих писем, посылаемых не только отцу и матери, но и разным родственникам, более или менее отдаленным. Особенно тоска эта должна была усиливаться в дни семейных праздников, которые Добролюбову приходилось теперь проводить в разлуке с родными. Так, в письме от 1 октября 1853 года он между прочим пишет матери:

«Я помню малейшие обстоятельства того, как мы, бывало, праздновали день именин ваших, и дай Бог ныне праздновать вам его еще веселее, еще радостнее прежнего… Это легко может быть, когда вы представите, что ныне сын ваш находится на гораздо лучшем месте, чем прежде, что он любит вас так же сильно, как прежде, и даже еще более ощущает в себе это чувство любви, ничем теперь не возмущаемое и не затемняемое, ни тенью неудовольствия, своенравия, ослушания, которыми, бывало, я так часто огорчал вас! Со спокойной и светлой душой, с радостным сердцем приношу я вам поздравление с днем вашего ангела и молю Господа, да подаст он вам здоровье, долголетие, радость, мир и спокойствие… Пусть весь кружок родных, которых я поздравляю с дорогой именинницей, восполнит своей внимательностью мое отсутствие на вашем мирном празднике».

Та же тоска, конечно, внушила Добролюбову ту особенную, страстную нежность, с какой обращался он к своим родителям в письмах к ним. Так, в письме от 6 октября мы читаем:

«Просвещенный филологическими наставлениями Срезневского и прочих, я с уверенностью полагаю теперь, что русский язык хотя весьма силен, звучен и выразителен, но не имеет достаточной мягкости и нежности для выражения глубочайших чувствований любящего сердца. Как, например, по-русски назову я вас, папаша и мамаша, милыми, добрыми, дорогими и пр., и пр. – все это, согласитесь, выражает слишком мало. Поэтому впредь я отказываюсь передавать вам свои чувства подобными эпитетами и называю вас просто – папаша и мамаша – без всяких прибавлений, надеясь, что и эти два слова очень достаточно выражают сущность наших взаимных отношений…»

В письме же к М. А. Кострову от 4 ноября он делает следующую приписку:

«Я не говорю вам о моей благодарности за то участие, которое вы принимали в милой моей мамаше. Но не могу не просить вас, еще и еще раз, будьте добры к ним по-прежнему, постарайтесь утешить мамашу, успокоить, развеселить, если опять она будет грустить обо мне. Скажите, что меня одна только и тревожит мысль, не плачет ли обо мне мамаша, не тревожится

ли папаша. Более всего умоляю вас, ради Бога, не смейтесь над щекотливым чувством материнской любви. В одном из писем мамаши есть выражение, которое заставляет думать, что вы (т. е. не вы собственно, а все наши родные вообще) забавляетесь этим. Но я здесь очень хорошо понимаю, что это чувство святое и великое и что нужно более чтить его…»

Впрочем, Добролюбову некогда было слишком предаваться тоске по дому. Вскоре начались занятия и поглотили его всего. Увлечения факультетскими предметами было так велико, что в первое же полугодие первого курса, сверх занятий греческим языком, римскими классиками, немецкой литературой и географией, он успел подать профессору Срезневскому тетрадь собранных им слов Нижегородской губернии, а к 15 декабря приготовил профессору Лебедеву сочинение по словесности, избрав темой сравнение перевода «Энеиды» Шершеневича с подлинником. Сверх того, он усиленно занялся изучением французского языка. В классах преподавателя этого языка Кресси ему было трудно вследствие незнания последним русского языка; и вот он приступил к самостоятельному изучению французского, вооружившись романом «Les Mystères de Paris»,[4] и целых два месяца не расставался с ним, пока не одолел его до конца.

По воспоминаниям одного из товарищей, Радонежского, Добролюбов владел особенным искусством на лету схватывать мысль профессора и записывал так, что тетради его по всем предметам, в продолжение всего курса, служили источником, откуда каждый студент, обязанный поочередно представлять реферат профессору, брал все необходимое. Через год Добролюбов дошел до такого умения записывать профессорские лекции, что, не опуская в них ничего существенно важного, успевал еще пародировать иную из них. Эти пародии иногда со смехом читались в аудиториях и дортуарах.

При отличных способностях Добролюбов владел каким-то особенным дарованием учиться. Довольствуясь записыванием лекций в аудитории, он никогда не терял времени на «черную» работу, т. е. на переписку, на составление рефератов, на заучивание. Он читал везде и всегда, по временам внося краткое содержание прочитанного в имевшуюся у него толстую, в алфавитном порядке писателей, библиографическую тетрадь. В столе у него было столько разного рода заметок, редких рукописей, тетрадей, корректур, которыми он в первое время зарабатывал себе на пропитание, в шкафу – столько книг, что и ящик в столе, и полки в шкафу ломились…

Все это невольно обратило на него внимание как начальства, так и товарищей. Вследствие того, что он прекрасно выдержал

приемный экзамен, его сделали старшим в той камере института, [5] где он был помещен. Скоро сотоварищи Добролюбова убедились в его превосходстве. Как у словесников, у них часто заходили споры о литературе. В этих спорах Добролюбов быстро показал свою начитанность, какую было трудно представить в семинаристе, и силу горячего убеждения, и недоверчивость к словам с кафедры. Неохотно приступали товарищи Добролюбова к славянской филологии. Добролюбов же с первой лекции И. И. Срезневского полюбил и предмет, и профессора. Профессор впоследствии сам горячо полюбил своего слушателя и, не в пример прочим, иногда звал его на лекции по имени и отчеству.

«Если не все любили Добролюбова, – говорит, между прочим, Радонежский в своих воспоминаниях, – не все соглашались с ним, но положительно говорю, – все его уважали. Смело можно сказать: все мы, его товарищи, обязаны многим и многим Н. А-чу как студенту, откликавшемуся на все, за всем современным следившему. Большая часть из нас у него искали разъяснения на многие вопросы, с которыми не могли сами совладать. Много было резкого в его приговорах; но эти убеждения его были свои, этот пыл, эта искренняя откровенность были всегдашней, неизменной принадлежностью благородной натуры Добролюбова, горячо оскорблявшегося всем, что, по его убеждению, не было добро и правда…»

Но, при всем своем углублении в научные занятия, Добролюбов никогда не представлял из себя педанта, глухого и слепого ко всему, что происходило вокруг.

Напротив, что бы он ни делал, каким бы серьезным и срочным трудом ни занимался, всегда с удовольствием оставлял занятие для живого разговора, откровенной беседы, которые при его участии, начинаясь литературой или профессорскими лекциями, всегда сводились на вопросы житейские. Он еще и тогда относился к этим последним слишком строго для 17-летнего юноши. Направление таланта Добролюбова, по словам Радонежского, впоследствии так ярко обнаруженное им, прорывалось уже очень рано. В то же время миросозерцание Добролюбова в продолжение всего первого курса оставалось нетронутым в том виде религиозной экзальтации, в каком выработалось оно в семинарии. Так, в письме к родителям от 18 ноября он рассказывает о чуде, случившемся с ним на «репетиции» профессора Устрялова, – «обстоятельстве, которое он считает не совсем обыкновенным и которому подобных примечал уже не раз в своей жизни». «Я все думаю, – замечает при этом Добролюбов, – что ваши молитвы хранят меня», и далее повествует, как Устрялов спросил его совсем не о том, что он

приготовлял, и ему угрожало срезаться. Но с утра он молился об ответе; в том критическом положении он вспомнил о молитве и дрожащим голосом начал отвечать о норманнах. И вдруг профессор остановил его и начал задавать такие вопросы, на которые ему ничего не стоило ответить. Во всем этом Добролюбов видит явный перст провидения, предохранивший его от ложной гордости и показавший, на кого он всегда должен надеяться. «И я счастлив, – заключает он свой рассказ, – теперь тем, что сознал эту истину. Для всякого другого, даже самого близкого мне человека, это обстоятельство само по себе не важно; но я рассказываю вам его, потому что из самого рассказа вы можете видеть мою настроенность». Разделяя вместе со всем русским обществом патриотические настроения по случаю с каждым днем более и более разгоравшейся Крымской войны, читая и сообщая родителям рукописные и печатные стихи, массами ходившие по рукам, Добролюбов передает между прочим в письме от 12 февраля 1854 года два слуха, ходившие в то время в народе: о том, как в одном сражении с турками явилась чудная Дева и помогла русским и как однажды ночью привиделся государю какой-то монах, сказавший: «Не бойся, будь тверд и мудр, как прежде», и исчез. При этом Добролюбов замечает, что во времена чрезвычайных политических событий часто случаются чрезвычайные явления и в мире нравственном и что он передает, правда, только слух, но такой слух, которому сердце его хотело бы верить.

Между тем жизнь не замедлила двумя жестокими ударами нарушить эту безмятежность чистой души юноши и, сразу обрушив на его голову тяжкое горе, наполнить его мучительными сомнениями, доводившими в первые минуты до мрачного ожесточения, и вместе с тем пошатнуть его от природы крепкое здоровье.

Первым ударом была смерть страстно любимой им матери, последовавшая 8 марта 1854 года. Долго скрывали от Добролюбова родные эту страшную потерю, стараясь медленно подготовить его к ней. Зинаида Васильевна была уже в могиле, когда он получил первое известие о ее тяжкой болезни, причиненной неблагополучными родами. В какую тревогу и смятение повергло Добролюбова это известие, мы можем судить по следующим выдержкам из письма его к отцу от 17 марта:

«Я все не верю, я не могу подумать, чтобы могло совершиться это ужасное несчастие… Бог знает, как много, как постоянно нужна была для вас милая, нежная, кроткая, любящая мамаша наша как благодетельный гений, милый друг и хранитель… Боже мой! В прахе и смирении повергаюсь перед Твоей святой волей!

Едва дерзкие мысли посетили было мою голову (о том, что он будет радостью и гордостью матери. – Авт.), как вот страшная кара грозит уже мне, видимым образом наказывая самонадеянность надменного ума… Но я смиряюсь, я надеюсь, я верую, Господи!.. Помоги моему неверию, подкрепи меня, сохрани мне, моим милым добрую нашу хранительницу! Я могу только молиться, я могу обращаться только к Господу Богу с моей глубокой горестью…»

Далее он обращается к отцу, сестрам, братьям и даже к докторам, умоляя их употребить все средства и усилия к исцелению больной:

«Я уверен, папаша, что вы ничего не пожалеете, употребите все средства для того, чтобы сохранить драгоценную, слабую жизнь… Я сам, с своей стороны, молюсь Богу, вместе прошу заочно и докторов наших, особенно доброго Егора Егоровича, который давно знает натуру мамаши, который однажды и меня спас от смерти… Пусть употребит он все старания и искусство… Благодарный сын отплатит за мать свою.

Сестры и братья мои! Не плачьте, не шумите, пожалуйста!.. умоляю вас… Может быть, вы не понимаете всей опасности… Покойте, радуйте мамашу, не давайте повода никакому потрясению… Нянюшка! Побереги их, посмотри за ними! Ради Господа Бога!.. Добрые родные наши, все, все вы, которые любили меня и нас всех!.. Употребите свои старания и заботы… Услужите этим всей семье нашей, обяжете нас навеки, навеки!.. Издали, но близко к вам, умоляю я вас об этом…»

Известие о смерти матери, пришедшее через неделю после этого, не застало, таким образом, Добролюбова врасплох: он успел привыкнуть к мысли о потере и при всем своем отчаянии сохранил столько мужества, что мог утешать отца. Так, 25 марта Добролюбов писал ему:

«Добрый мой, милый мой, драгоценный для меня папашенька! Что мне ответить вам на ваше последнее письмо! Велика моя горесть, но прежде всего не могу я не поблагодарить вас за вашу предусмотрительность… Ваша любовь, ваше благоразумие рассчитали верно… В течение недели я привык к тягостной мысли, и нынешняя весть поразила меня уже не так сильно, как я ожидал… Тяжко, тяжко, невыразимо тяжко мне; но я не изнемог под бременем страданий и сохранил силу рассудка и мысли. Всего более беспокоюсь я о вас, мой милый, несравненный папаша… Вам, верно, было горько присутствовать при последних страданиях нашей милой мамашеньки. Верно, и теперь еще тяжело, горько, грустно вам… Вы пишете, успокаивая меня, что вы предаетесь в волю Благого Премудрого Промысла…

Дай Бог вам силу и твердость к перенесению этого бедствия!..

В отношении ко мне, – читаем мы далее, – тоже вы сделали весьма много при этом… Вы спасли меня от тягостного отчаяния, вы поддержали мои силы, дали мне время оправиться, привыкнуть к тягостной мысли, и я не сомневаюсь, что все ваши распоряжения по дому и хозяйству будут так же прекрасны и вполне заменят для моих милых сестер и братьев попечения матери… Наша добрая бабенька будет, верно, так добра, что позаботится о них, приложит все свое попечение об их воспитании и образовании… Бедные, бедные мои сестры, милые братья мои! Как бы нужна для вас теперь любовь материнская! Но Господь оставил вам милого, несравненного папашу, любите его, радуйте, утешайте, молитесь, чтобы Господь Бог подкрепил его! Так много, так много горя!.. Папашенька! Надейтесь, надейтесь, что еще счастие снова посетит смиренную долю нашу, а в кругу детей, которые будут тем больше любить и утешать вас, вы найдете отраду и забвение о незабвенной…»

В то время как Добролюбов таким образом утешал своего отца и старался всячески ободрить его, истинные чувства свои он передавал прочим родственникам, и особенно в этом отношении замечательно письмо его к двоюродному брату М. И. Благообразову от 15 апреля 1854 года, обнаруживающее всю величину его отчаяния. В письме этом в ответ на несправедливые упреки в холодности ко всему Добролюбов отвечает, что люди, которые ко всему холодны, ни к чему не привязаны в мире, должны же на что-нибудь обратить запас любви, находящейся неизбежно в их сердце. И эти люди не расточают своих чувств зря, всякому встречному: они обращают его на существо, которое уже имеет много прав на их привязанность. В этом существе заключается для них весь мир, а с потерей его мир делается для них пустым, мрачным и постылым, потому что не остается уже ничего, чем бы могли они заменить любимый предмет, на что могли бы обратить любовь свою.

«Из таких людей и я, – пишет далее Добролюбов. – Был у меня один предмет, к которому я не был холоден, который любил со всей стойкостью и горячностью молодого сердца, в котором сосредоточил я всю любовь, которая была только в душе моей, – этот предмет была мать моя. Поймешь ли ты теперь, как много, необъятно много потерял я в ней? Теперь все в мире мне чужое, все я могу подозревать, ни к кому не обращусь и с полной детской доверенностью, ко всякому я желал бы проникнуть в сердце и узнать скрытые его мысли». Выдержки из дальнейшего продолжения этого письма уже приведены нами. Ниже Добролюбов пишет:

«Душа моя должна быть закрыта для всех, да и сам я не могу с сердечным участием внимать рассказам других об их внутренней жизни. Все исчезло для меня вместе с обожаемой матерью… Отчий дом не манит меня к себе, семья меньше интересует меня, воспоминания детства только растревожат сердечную рану, будущность представляется мне теперь в каком-то жалком, безотрадном виде; я, как лермонтовский демон, представляю себе: „Какое должно быть мученье всю жизнь, весь век без разделенья и наслаждаться, и страдать…“ Оканчивается же письмо следующими словами: «По крайней мере, молитесь о ней, чтобы хоть в небесах она была блаженна; молитесь жарко и часто… Я редко могу молиться, я слишком ожесточен…

Ты скажешь опять, может быть, что я рассуждаю, а не чувствую. Но в том-то и беда моя, что я рассуждаю. Если бы я мог, как другие, разразиться слезами и рыданиями, воплями и жалобами, то, разумеется, тоска моя облегчилась бы и скоро прошла. Но я не знаю этих порывов сильных чувствований, я всегда рассуждаю, всегда владею собой, и потому-то мое положение так безотрадно, так горько. Рассудок подсказывает мне всю великосгь утраты, не позволяет мне забыться ни на минуту, я вижу страшное горе во всей его истине, и между тем слезы душат меня, но не льются из глаз. За этим письмом едва ли не в первый раз я плакал, и мне стало легче после этих слез, легче после моих признаний. Не отвергай же их, не бросай на них тени сомнения, ответь мне по-дружески. А то – ужасное положение!.. Опять, как Демон, остаюсь я «с своей холодностью, надменной, один, один во всей вселенной, без упованья и любви!..» Пожалей меня, подумай обо мне…»

Как ни сильно было горе юноши, но жизнь со всеми своими заботами и суетою не давала времени всецело предаваться ему. Предстояли экзамены, которые Добролюбов выдержал прекрасно и переведен был на второй курс четвертым. После же экзаменов он поехал домой, в Нижний.

«В 1854 году, в июне месяце, после экзаменов, – повествует в своих воспоминаниях о Добролюбове Радонежский, – мы втроем отправились на каникулы по железной дороге *«вместе с волами»,* как выразился Добролюбов, т. е. на тяжелом поезде до Твери. В Твери мы сели на пароход, с тем чтобы отправиться по Волге; я – в Ярославль, еще товарищ – в Кострому, а Добролюбов – в Нижний. Всю дорогу наш Ник. А-ч был как-то особенно печален. К тому же он поместился на палубе, и его буквально испекло жарким июньским солнцем. На пароходе с нами ехали два болгарских монаха; он с ними всю дорогу проговорил о болгарском языке, о жизни болгар… Оттого ли, что у

Добролюбова не было денег, или он не хотел их тратить, или ему наскучила дорога, или не был хорошо здоров, или его томило недоброе предчувствие – не знаю; но он всю дорогу грустил, ничего почти не ел и не пил в продолжение двух суток…»

«Мрачно как-то посмотрел на меня знакомый с детства переулок, – пишет он своему товарищу Д.Ф. Щеглову 25 июня 1854 года, – грустно мне было увидеть наш дом. Отец выбежал встретить меня на крыльцо. Мы обнялись и заплакали оба, ни слова не сказавши друг другу… „Не плачь, мой друг“, – это были первые слова, которые я услышал от отца после годовой разлуки… Грустное свиданье, не правда ли? Потом встретили меня сестры. Маленьких братьев нашел я еще в постели. Младший (в сентябре будет 3 года) и не узнал меня с первого раза, а Володя узнал тотчас… Папаша провел меня по всем комнатам, и я шел за ним, все как будто ожидая еще кого-то увидеть, еще кого-то найти, хотя знал, что уже искать нечего. Везде было по-прежнему, все то же и так же, на том же месте, только прежняя двуспальная кровать заменилась маленькой односпальной… Отец пошел потом к обедне, а я остался и долго плакал, сидя на том месте, где умирала бедная маменька. Наконец и я собрался с сестрами к обедне, пришел к концу, но, признаюсь, усердно молился. Я искал какого-нибудь друга, какого-нибудь близкого сердца, которому бы я мог, не опасаясь и не стесняясь, вылить свое горе, свои чувства. Не было этого сердца, и мне приятно было думать, что хоть невидимо моя дорогая, любимая мать слышит и видит меня. Это было такое непривычное для меня положение, что я изменил всегдашней своей положительности. Притом самая церковь наша имеет для меня высокую pretium affectionis.[6] Все здесь на меня действовало давно знакомым воздухом, все пробуждало давно прошедшие, давно забытые и давно осмеянные чувства. После обедни сходил я на кладбище. Тут я не плакал, а только думал, тут я даже успокоился немного. Теперь я грущу очень немного. Отец все еще иногда плачет. Маленькую нашу взяла к себе года на два, на три одна знакомая нам помещица. Папенька без труда согласился на это. Положение нашего семейства вблизи гораздо лучше, нежели представляется издали. Теперь уже мне некогда и негде распространяться об этом. Если не будет лень, опишу тебе в другой раз подробно о своем пребывании в Нижнем; теперь скажу только, что все мои великолепные предположения о занятиях в каникулы исчезли. В целый месяц я с большим трудом мог прочитать несколько номеров «Современника» прошлого и нынешнего года. Совершенно нет времени… Когда я дома и у меня никого нет, то я вожусь с братьями, да еще с двумя

гимназистами, одним нижегородским, другим петербургским. Это брат и племянник князя Трубецкого, живущие ныне в нашем доме. Один из них, мальчик лет 13, делает мне, впрочем, пользу: взялся учить меня по-французски».

Но известно, что одна беда всегда ведет за собой другую, и Добролюбова, едва успевшего утешиться от одного горя, внезапно постиг новый удар: 6 августа внезапно умер от холеры его отец, оставив все семейство на руках своего восемнадцатилетнего сына. Это событие повергло Добролюбова уже не в отчаяние, а просто в какое-то оцепенение. В первые минуты он до того растерялся, что был готов бросить институт и определиться на службу уездным учителем, и лишь возможность пристроить детей по рукам родственников и достаточных знакомых и то соображение, что в Петербурге частными уроками можно заработать больше, чем в должности уездного учителя, отвратили его от этого поистине гибельного шага. Вот что пишет он Д. Ф. Щеглову под первым впечатлением нового несчастья 9 августа 1854 года.

«Тяжело мне, мой друг Дмитрий Федорович, но кажется, что я должен проститься с институтом. Судьба жестоко испытывает меня и ожесточает против всего, лишая того, что мне было особенно дорого в мире. 6 августа мой отец умер от холеры. Семеро маленьких детей остались на моих руках, запутанные дела по дому – тоже. А между тем я еще тоже считаюсь малолетним и подвержен опеке. Ты теперь понимаешь, в какие отношения вступил я теперь к своему семейству. Ты читал не повесть, а трагедию… Я надеюсь на твое расположение даже и в таком случае, если я не возвращусь больше в институт. Но, может быть, я найду средства устроить моих сестер и братьев гораздо лучше, нежели как мог бы сделать, если бы остался в Нижнем уездным учителем. Папеньку все в городе так любили, что принимают теперь в нас живейшее участие. Подличает с нами одно только духовенство и архиерей. Вчера на похоронах я был страшно зол. Не выронил ни одной слезы, но разругал дьяконов, которые хохотали, неся гроб моего отца; разругал моего бывшего профессора, который сказал пренелепую речь, уверяя в ней, что Бог знает, что делает, что он любит сирот и проч… Я страшно расстроен. Чувствую, что ничего хорошего не могу сделать, и между тем знаю, что все должен делать я, за всех сестер и братьев. К счастью еще, я деревянный, иначе я бы непременно разбился…»

Почти одновременная потеря родителей так потрясла весь и умственный, и нравственный мир Добролюбова, что все его убеждения, в духе которых он был воспитан с детства, поколебались, и началась мучительная переработка всего его

миросозерцания. Когда в конце августа, на обратном пути из дома в Петербург, Радонежский встретил Добролюбова на железной дороге, ехавшего на этот раз с каким-то барином-земляком во втором классе, перед ним был совсем другой человек.

– Что нового у вас, Николай, в Нижнем? – спросил он его.

– Отец умер, – отвечал он.

«В холодном тоне ответа, – замечает при этом Радонежский, – сказанного Добролюбовым с язвительной улыбкой, мне послышалось проклятие, посланное судьбе… Да, он смеялся, сообщая мне эту грустную новость, но так смеялся, что меня покоробило. Эти грустные семейные обстоятельства, быстро следовавшие одно за другим, имели сильное влияние на Ник. А-ча. С этой минуты его душа навсегда простилась с мечтами… и жизнь, жизнь со всей ее реальностью стала предметом его изучения»…

Глава III

Следующие годы институтской жизни. – Отношения с начальством и товарищами. – Начало литературной деятельности. – Окончание курса

Несмотря на то, что семейство было пристроено и дом, оставшийся после родителей, был отдан внаем, расположение духа Добролюбова оставалось мрачным, и письма его к родным, относящиеся к этому времени, носят один и тот же характер уныния и ожесточения. Добролюбов никак не мог примириться с тем, что братья и сестры его сидят на шее у разных благодетелей, которые содержат их из милости, будучи и сами людьми небогатыми, и, чтобы избавиться от этого унижения, он по возвращении в Петербург, как вол, запрягся в добывание скудных средств грошовыми уроками и переводами. Средств этих для полного обеспечения семьи, конечно, на первых порах было недостаточно, и хотя в своем письме к старшей сестре Ниночке от 14 сентября 1854 года Добролюбов утешает ее, говоря, что «теперь забота любящего брата доставить вам средства, какие возможно, и будь уверена, я это сделаю: если не ныне, то через два, три года… но вы все найдете во мне помощника в жизни», но совсем в другом тоне пишет он 4 ноября к двоюродному брату Михаилу:

«Ты пробуешь уверить меня, – пишет он, – что материальное состояние нашего семейства очень хорошо, что мы не должны называться бедными и прочее. Может быть, говоря это, ты имел намерение утешить меня, – благодарю, но прошу впредь не представлять мне таких утешений, которые, конечно, не могут иметь своего действия, потому что я не двухлетний мальчик и хорошо понимаю всю тяжесть, всю горесть, всю безвыходность положения наших дел в материальном отношении. Если все останется в настоящем положении, то через три года мои сестры будут иметь уже неотъемлемое (даже твоей хитрой логикой) право назваться нищими невестами или запереться в монастырь послушницами…»

Когда же тетушка Варвара Васильевна упрекнула его в письме, что он редко пишет ей, потому что стал гнушаться

простыми, незнатными родственниками, Добролюбов в письме своем к ней от 29 декабря писал между прочим:

«.Знатные люди!» Да поверите ли, что только по необходимости веду я подобные связи и что никогда не склонно было сердце мое к кружку, который выше меня? Да и мог ли я здесь держаться при моем воспитании, при моем положении, при отсутствии всяких средств… Да вот вам случай: я теперь гощу праздники у Галаховых.[7] Меня принимают прекрасно, ласкают и занимаются мной. Но, вставая поутру, я поскорей стараюсь накинуть сюртук, чтобы человек не взял его чистить и не увидал, как он худ и вытерт, мой несчастный казенный сюртук. И сколько труда стоит мне прикрыть в продолжение дня разные недостатки этого сюртука… А нового сшить… куда, я и думать не смею…»

Изнуренный трудами, бессонными ночами и вечной тревогой о своей сирой семье, Добролюбов слег весной 1855 года больным в институтский лазарет. Он приписывает свою болезнь простуде, но очень возможно, что это были первые предвестия чахотки, сведшей его в преждевременную могилу. И к довершению всех бед во время болезни он получил известие о смерти маленькой своей сестренки Юленьки, которая была уже определена в Царскосельское училище и которой предстояло в скором времени приехать для этого в Петербург.

«Смерть Юленьки, – пишет он 24 марта 1855 года своей тетке Варваре Васильевне, – так неожиданно случившаяся в то самое время, когда она почти совсем уже была устроена, когда я уже радовался, надеясь свидеться хоть с ней в этом году здесь, в Петербурге, эта смерть столько принесла мне горя, что я до сих пор еще не могу опомниться… Как будто какое-то проклятие тяготеет над нашим родом, как будто так уже суждено, что из поколения в поколение переходят и должны переходить в нем только одни непрерывные бедствия!.. Тошно, горько, тяжко на свете… Зачем было рождаться на свет, чтобы так страдать с ранней молодости, чтобы так провести лучшие годы, которые даются для наслаждения и радости человеку!..»

Но как ни тяжело было материальное положение Добролюбова и как ни много забот и тревог причинял ему вопрос об обеспечении братьев и сестер, молодость брала свое: юноша развивался вместе со своими сверстниками-товарищами под влиянием лекций профессоров, чтения журналов и ученых занятий, в которые он был погружен днем и ночью. Мало-помалу все более и более живое участие принимал он в литературном движении того времени, и это участие привело к такому событию его жизни при переходе его на третий курс, которое, доставивши ему начало литературной известности, вместе с тем причинило

немало неприятностей и едва не испортило его дел. Вот что пишет он об этом событии в письме к Михаилу 20 июня 1855 года:

«Ты знаешь, что я писал прежде стихи. Знаешь также, что я приверженец новой литературной школы и что подлости старичков, подвизающихся в „Северной пчеле“, раздражали меня как нельзя более. В начале нынешнего года (т. е. академического) представился мне случай отомстить одному из них, Гречу. Я написал пасквиль на случай его юбилея, и стихи разошлись по городу весьма быстро. Их читали на литературных вечерах, их хвалили профессора наши, не зная еще автора… Между тем некоторые из товарищей, знавших дело, были столько неосторожны, что проболтались в нескольких домах, и скоро мое имя стало под рукой повторяться теми, которые читали и списывали эти стихи. Наконец дошло до директора (института). Меня спросили и обыскали. Не нашли того, чего искали, но захватили другие бумаги, тоже довольно смелого содержания… Много было возни и хлопот. Я мог поплатиться за мое легкомыслие целой карьерой; но, к счастью, имел довольно благоразумия, чтобы не запираться перед директором и, признавшись в либеральности своего направления, показал вид чистосердечного раскаяния. Профессора заступились за меня; поведение мое было всегда весьма скромно; С. П. Галахов просил за меня директора (не зная, впрочем, что я писал стихи), – и заблуждения юности были оставлены без дальнейших последствий… Я отлично сдал все экзамены, и директор сам поздравил меня с переходом в третий курс, куда по числу баллов я *должен* перейти вторым, но, может быть, еще меня понизят немножко. Тетенька пусть не знает этого, или ты можешь сказать им что-нибудь полегче, чтобы они не стали тревожиться и плакать Бог знает из-за чего. Беды большой еще нет в моих делах. Пушкин и Лермонтов писали пасквили, Искандер до сих пор пишет на Россию едкие статьи, Даль выгнан был из корпуса за «написание пасквилей». А я, слава Богу, отделался еще довольно легко, и теперь подобное обстоятельство со мной не повторится».

Но Добролюбову пришлось по поводу своих стихов испытать еще немало тревог. Так, в письме все к тому же двоюродному брату Михаилу 30 июня он пишет:

«Я, брат, тоже жду себе больших и больших неприятностей. В известных тебе стихах затронут был кн. Вяземский и назван продажным поэтом. Теперь вдруг ни с того ни с сего он сделан товарищем[8] нашего министра. Мое имя известно, немудрено, что обиженные мною приятели его подожгут, и в институте меня не будет. Начальники, из желания угодить товарищу министра,

начнут снова меня преследовать, и даже защищать меня всякий побоится. Каюсь теперь в неосторожности, да утешаюсь хоть тем, что это, по крайней мере, не дело, аслово, и довольно неглупое и имевшее своего рода успех, так что все-таки много есть людей, которые в душе всегда будут за меня…»

Но опасения Добролюбова были напрасны. Князь Вяземский или не знал, что автор стихотворения на юбилей Греча – студент педагогического института Добролюбов, или великодушно простил ему оскорбление, и вместо того, чтобы иметь преследователя в новом товарище министра, Добролюбов нашел в нем защитника.

Так, когда Добролюбов, беспокоясь об участи семьи и видя невозможность прокормить ее случайными заработками в Петербурге, намеревался уволиться из института и ехать на родину и уже подал об этом прошение товарищу министра, последний принял в нем горячее участие, советовал во что бы то ни стало окончить курс, а по окончании обещал ему хорошее место. Вместе с тем князь Вяземский принял участие и в семье Добролюбова. Так, по его ходатайству, приход умершего отца Добролюбова был зачислен за его дочерью, несмотря на все сопротивления местного архиерея, давшего о Добролюбове в Синод самый дурной отзыв вроде того, что «юноша Добролюбов много меня оскорблял и прежде, и своих отца и мать поступлением в светское заведение, а не в Духовную академию, куда он был принят по моему ходатайству».

Судя по письму к своему товарищу А. П. Златовратскому от 9 июня 1857 года, можно сказать, что в целом год пребывания Добролюбова на третьем курсе института был для него самым бурным по разным неприятным столкновениям с начальством. В институте в это время были постоянные недоразумения между студентами и директором И. И. Давыдовым; студенты делились на две партии: партию приверженцев Давыдова, заискивавших перед ним, и партию оппозиционную. Добролюбов принадлежал к последней, принимал горячее участие во всех дрязгах, но вскоре убедился в их тщете и в то же время разочаровался во многих товарищах.

«Скажу только, – пишет он в вышеупомянутом письме, – что человеку, у которого есть интересы и цели повыше институтских отметок и благосклонностей, странно и смешно было бы принимать серьезно все эти пустяки, которые волновали наших товарищей в последний год… Я жил душой в институте, я работал, сколько было сил моих, подвергаясь опасностям и неприятностям (тебе хорошо известным), пока у меня было дело

полезное и благородное и пока я не утратил веры в тех, для которых, между прочим, работал. Цели своей я достиг хоть отчасти, а преследовать ее до конца почел излишним и бесплодным, увидавши, с кем имею дело. Все, что было мной совершено против начальства в последнее время, было уже не плодом святого убеждения, а делом старой привычки, поднимавшейся при удобном случае… Если бы я дал себе труд подумать, я бы никогда не стал терять даже получаса времени (которого стоило мне это дело) для людей, которые стоят моего полного равнодушия, если не более».

Но рядом с таким разочарованием в товарищах и пренебрежительным на них взглядом Добролюбов ставит на вид свою терпимость, позволявшую ему относиться с одинаковой приветливостью к людям, которые в глазах его друзей не стоили такого обращения.

«Нет, Златовратский, – оправдывается он в этой своей черте, – если ты в чем меня мог упрекнуть, то разве в нечистоплотности, как выражается мой двоюродный брат. Мне ничего не значит сесть на запыленную скамейку в городском саду, если я устал, так же, как ничего не стоит заговорить с А. или Б.; я не замечу, что надену нечищеные сапоги, так же как не замечу, что похристосовался с В. На меня не производит неприятного впечатления паутина, которой весь я окутаюсь, собирая малину в саду, так же как не пугает меня пошлость Г., когда я наблюдаю его наивную натуру… Я с удовольствием могу расцеловать руку Д., девушке (всеми презираемой), которая мне нравится, так же как с удовольствием могу выслушать остроту Е. или умную выходку Ж. Вот мое несчастие, которого никто, кроме меня, не видит; а я и вижу, да не стараюсь от него избавиться, а, напротив, благословляю судьбу за него: во мне мало исключительности, у меня недостает духу деятельной оценки человека, и я, умея презирать мерзости, не гнушаюсь добром; а если его нет, то я не нахожу особенного удовольствия охотиться за злом, а просто оставляю его без внимания и ищу добра в другом месте».

Эта терпимость, это прощение зла ради нескольких крупиц добра, замечаемых в человеке, конечно, вполне гармонировали с кроткой и нежной душой Добролюбова, жаждавшего любви и умевшего страстно и крепко привязываться к людям. Здесь мы видим уже зародыш тех гуманных, чисто христианских взглядов, проводимых Добролюбовым в его статьях, – взглядов, основанных на известном евангельском изречении – «не ведают бо, что творят» – и обусловливающих существующее на земле зло не злой волей, а ненормальными отношениями, завещанными веками варварства и невежества.

На родину Добролюбов не ездил до окончания курса, оставаясь на каникулах в Петербурге и занимаясь уроками. Так, лето 1858 года он провел у неких Малоземовых на даче в Полюстрове, где он готовил к поступлению в корпус мальчика за скудную плату – 30 рублей.

«Как ни ничтожна эта сумма, – пишет он своим родственникам, – но я не раскаялся, что согласился принять на себя это дело. Мальчик, ученик мой, очень неглуп и любит заниматься; мои объяснения слушает он с охотой и вниманием, а следовательно, мне заниматься с ним очень приятно. Семейство, в которое попал я, чрезвычайно доброе и милое; меня все очень полюбили, заботятся обо мне, как о родном. Дети все привязались ко мне как нельзя больше: просто не отходят от меня, не хотят без меня обедать, если я запоздаю как-нибудь в городе или на прогулке, отказываются от гулянья и остаются дома без всякого неудовольствия, ежели только я остаюсь. По всему этому вы можете судить, как я сам привязан к детям и ко всему семейству г-д Малоземовых, у которых нахожусь теперь. Что касается до внешних удобств, то я тоже очень доволен всем: довольно хороший обед, сытный завтрак, кофе, ягоды и прочее каждый день. Нередко приезжают гости, с которыми даже весело и незаметно проходит мое время. Кроме того, я пользуюсь правом бесплатного входа в купальню, в сад Безбородко, где три раза в неделю играет музыка и бывает иногда иллюминация и где каждый раз нужно бы платить по 15 копеек серебром за вход. Прибавьте к этому катания на лодке, иногда отправление в другие увеселительные места, куда я тоже сопровождаю всегда семейство, не платя ничего, – и вы увидите, как мне здесь спокойно и приятно после однообразной институтской жизни, нарушавшейся обыкновенно только домашними неприятностями».

В продолжение последних двух лет пребывания в педагогическом институте (1856 и 1857) окончательно выработались убеждения Добролюбова, его стремления, целиком направленные к общественным идеалам, и при этом суровый, ригористический характер, доходивший порою до аскетизма.

Так, в одном отрывке из дневника, который Добролюбов вел в 1857 году, вот какую параллель проводит он между собой и одним из своих товарищей, с которым был прежде в большой дружбе, поссорился, а затем снова помирился, но считал невозможным восстановление прежней интимности.

«Каждая вещь, – говорит Добролюбов, – которую мы делаем, основывается, конечно, на эгоизме, тем более такая вещь, как дружба. Приятно быть дружным с тем, кто нам сочувствует, кто

может понимать нас, кто волнуется теми же интересами, как и мы. В этом случае мое самолюбие удовлетворяется, когда я нахожу одобрение моих мнений, уважение того, что я уважаю, и т. п. Но с Z у нас общего только честность стремлений, да и то немногих: в последних целях мы расходимся. Я хоть сейчас готов вступить в небогатое общество с равными правами и общим имуществом всех членов; а он признает неравенство прав и состояний даже в высшем идеале человечества… Я искал какой-то безотчетной, беспечной любви к человечеству и уже привык давно думать, что всякую гадость люди делают *по глупости,* и, следовательно, нужно жалеть их, а не сердиться; противодействуя подлостям, я делаю это без гнева, без возмущения, а просто по сознанию надобности и обязанности дать щелчок дураку. Z, напротив, отличается страстностью действий, и потому они принимают у него всегда личный характер; все затеянное им начиналось с него и к нему непосредственно относилось; все затеянное мной касалось меня менее, чем всех других, потому что лично я никогда ничем не был обижен от нашего начальства…»

Молодые страсти, с каждым днем более и более закипая в груди, брали свое и давали себя чувствовать в виде частых вспышек влюбчивости, то в какую-нибудь барышню из тех немногих семей, с которыми Добролюбов был знаком, то в актрису, увлекавшую его своей игрой и наружностью. Так, побывав в театре на «Горе от ума», он пишет в своем дневнике, что в другой раз уже не пойдет смотреть его, – разве лишь для того, чтобы любоваться N. «Она, – пишет Добролюбов, – в самом деле поразительно хороша, и ее красота именно в моем роде: я всегда воображал себе такою мою будущую bien-aimée[9]… Эти тонкие, прозрачные черты лица, эти живые, огненные, умные глаза, эти роскошные волосы, эта грация во всех движениях и неотразимое обаяние в каждом малейшем изменении физиономии – все это до сих пор не выходит у меня из памяти. Но впечатление, произведенное на меня N, именно подходит к тем, которые Пушкин называет «благоговеньем богомольным перед святыней красоты». Смотреть на нее, следить за чудными передвижениями ее лица и игрою глаз – есть уже для меня достаточное наслаждение. Совсем другого рода чувства волновали меня, когда танцевали Жебелева с Богдановым мазурочку…»

Красота актрисы, пленившей юношу в «Горе от ума», затмила красоту какой-то барышни NN, к которой до того Добролюбов был неравнодушен, но теперь удивлялся, что стал холоден к ней. «Вот что значит, – писал он в дневнике, – посмотреть на лучшее, после которого не нравится уже хорошее. „Ни одна не станет в споре

красоты с тобой“ – вот чего бы я хотел для моей bien-aimée. Дождусь ли когда-нибудь такого счастья!..»

Но и красота актрисы была в свою очередь скоро вытеснена из воображения молодого человека красотой новой барышни, которую он встретил в семействе ZZ. «Это чудо что такое! – писал он в своем дневнике, – ей должно быть лет 15 или 17. Она великолепная брюнетка, небольшого роста, с чрезвычайно выразительными чертами лица. Если я ее никогда больше не увижу, я никогда не забуду этого лица. Я был в каком-то диком опьянении восторга после того, как она через три минуты вышла из комнаты. Она не сказала ни одного слова, она посмотрела на меня с видом небрежного покровительства, но я не досадовал за это, потому что она сразу стала в моем сердце выше всякой досады…»

Но Добролюбов с презрением смотрел на такие молодые увлечения как на слабости, которым не следует давать поблажки, а, напротив, предполагал закалить себя ввиду предстоящей борьбы.

«Странное дело, – пишет он в своем дневнике по поводу увлечения актрисой, – несколько дней тому назад я почувствовал в себе возможность влюбиться; а вчера ни с того ни с сего вдруг мне пришла охота танцевать, – черт знает что это такое! Как бы то ни было, а это означает во мне начало примирения с обществом. Но я надеюсь, что не поддамся такому настроению: чтобы сделать что-нибудь, я должен не убаюкивать себя, не делать уступки обществу, а, напротив того, держаться от него дальше, питать желчь свою. При этом разумеется, конечно, что я не буду делать себе насилие, а стану ругаться только до тех пор, пока это будет занимать меня и доставлять мне удовольствие. Делать то, что мне противно, я не люблю. Если даже разум убедит меня, что то, к чему имею я отвращение, благородно и нужно, и тогда я сначала стараюсь приучить себя к мысли об этом, придать более интереса для себя этому делу – словом, развить себя до того, чтобы поступки мои, будучи согласны с абсолютной справедливостью, не были противны и моему личному чувству. Иначе, если я примусь за дело, для которого я еще не довольно развит и, следовательно, не гожусь, то, во-первых, выйдет из него – „не дело, только мука“, а во-вторых, никогда не найдешь в своем отвлеченном разуме столько сил, чтобы до конца выдержать пожертвование собственной личностью отвлеченному понятию, за которое бьешься».

Однажды (8 января) за обедом в одном семействе, где давал уроки Добролюбов, зашла речь об убийстве Сабура Вержесом – случае, наделавшем тогда много шума на целую Европу. Ужаснее

всего казалось, что Вержес совершил убийство открыто в публичном месте, среди многолюдной толпы. Собеседники Добролюбова говорили в этом тоне.

«Я сказал, – пишет Добролюбов в своем дневнике, – что оправдывать убийство вообще нельзя, но не нужно и так строго обвинять (Вержеса) только за то, что оно совершено открыто и честно, а не подло и скрытно. Отсюда разговор легко перешел, конечно, к ослиной добродетели, которой Н.П. произнесла панегирик, а я захохотал. Смех мой ее озадачил и даже несколько оскорбил. Начался спор, в котором я доказывал, что честный и благородный человек не может и даже не имеет права терпеть гадостей и злоупотреблений, а обязан прямо и всеми своими силами восставать против них. Вместо всякого ответа на мою диссертацию в этом смысле Н.П. только руками всплеснула: „Ах, какой он, подумаешь, вольнодумец! Господи, Боже мой!“ Скоро, однако же, она согласилась, что вольнодумство это очень благородно, но прибавила, что оно может быть гибельно. В этом я с нею согласился…»

Ниже в том же дневнике мы читаем:

«Жизнь меня тянет к себе, тянет неотразимо. Беда, если я встречу теперь хорошенькую девушку, с которой близко сойдусь, – влюблюсь непременно и сойду с ума на некоторое время… И так вот она начинается, жизнь-то… Вот время для разгула власти страстей… А я, дурачок, думал в своей педагогической и метафизической отвлеченности, в своей книжной сосредоточенности, что уже я „пережил свои желанья“ и „разлюбил свои мечты…“ Я думал, что выйду на поприще общественной деятельности чем-то вроде Катона бесстрастного или Зенона-стоика. Но, верно, жизнь возьмет свое…»

В воспоминаниях товарищей еще рельефнее выражается увлечение Добролюбова общественными вопросами. Так, по словам Радонежского, однажды, когда в минуту «певучего» настроения он запел в присутствии Добролюбова какой-то романс, последний воскликнул:

– Радонежский! Перестанешь ли ты сердечные романсы распевать? Ужели ты не имеешь в запасе для пения что-нибудь получше? На вот, пой!.. – И Добролюбов сунул товарищу стихотворения Некрасова. – Оставь, пожалуйста, любовь и цветы, пой «жизнь» – или плачь, это одно и то же, – ну, свисти!..

«Песня, – прибавляет к этому Радонежский, – иногда петая мною – „Не слышно шуму городского“, – особенно нравилась Добролюбову, и он, вообще не любивший пения, очень часто просил меня ее петь и всегда слушал с особенным вниманием.

Покойный Николай Александрович, – говорит далее

Радонежский, – не любил мишуры нигде и ни в чем, не любил рисоваться и всегда ратовал против нарядного чересчур мундира, особенно ловкого поклона, заискивающего разговора, подобострастного отношения к кому бы то ни было… На танцклассе, куда он являлся в четыре года, может быть, пять раз, смешил танцмейстера своей неловкостью и мудростей кадрили французской не постиг…

Во время коронации студентам института прислали две ложи даровые в Александрийском театре. Бросили жребий, кому из студентов ехать, Добролюбову и мне достали также места. Давали «Парашу-Сибирячку» и еще что-то. В одной из них играл покойный Максимов. Во время действия за некоторые монологи вызывали Максимова после того, как он кончил свое явление. Максимов имел привычку выходить раскланиваться и, разумеется, своим выходом нарушал художественную иллюзию… В то время, когда все хлопали являвшемуся на вызов Максимову, хотя по ходу действия явления его не следовало, Добролюбов, вставая с своего места и высунувшись из ложи, кричал громко: «Невежа, лакей!» – шикал и свистал. (То же было с Добролюбовым, когда Максимов в другой раз при нем играл роль Чацкого.) И всегда потом, если заходила речь об Александрийском театре, он ругал Максимова…

Как-то вечером, часов в десять после ужина, сидели мы в своей камере за столом: Добролюбов, я и еще три студента. Добролюбов читал что-то, сдвинувши на лоб очки. Является от знакомых один студент, некто N, считавший себя аристократом между нами, голышами, как помещик. N стал рассказывать одному студенту новость: будто бы носятся слухи об освобождении крестьян (это было в начале 1857 года). Передавая этот слух, N выразил оттенок неудовольствия как помещик… Добролюбов, не переставая читать, доселе довольно покойно слушал рассказ N. Но когда N сказал, что подобная реформа еще недостаточно современна для России и что интерес его личный, интерес помещичий через это пострадает, Добролюбов побледнел, вскочил со своего места и неистовым голосом, какого я никогда не слыхал от него, умевшего владеть собою, закричал: «Господа, гоните этого подлеца вон! Бон, бездельник! Вон, бесчестье нашей камеры!..» И выражениям страсти своей и гнева Добролюбов дал полную волю!..»

Сам Добролюбов передает в своем дневнике этот эпизод несколько иначе:

«В „Сенатских ведомостях“, – пишет он, – напечатан был указ, в котором говорилось что-то о крепостных. Весть об этом распространилась по городу, и извозчики, дворники, мастеровые

и т. п. толпами бросились в сенатскую лавку – покупать себе *вольные*… Произошла давка, шум, смятение. Указы перестали продавать. К. ходил вчера в сенатскую лавку. Чиновник ответил на его вопрос об указе касательно крепостных: нет и не было… Но тут же и в те минуты, которые К. пробыл в лавке и возле, человек 15 разного звания приходили спрашивать об этом указе, и всем тот же ответ. Говорят, что многие извозчики оставили своих хозяев, рассчитав, что теперь им оброку платить не нужно, и, следовательно, от себя работать могут, что гораздо выгоднее. С. встретил третьего дня вечером двух пьяных мужиков, из которых один говорил, что мы, дескать, вольные с нового года, а другой ему возразил: врешь, с первого числа. Это меня возбудило и настроило как-то напряженно. Вечером заговорили опять об этом указе, и N, думая сострить, самодовольно заметил, что для студентов эта новость не может быть интересной, потому что у них нет крестьян. N стал, по обычаю, очень тупо острить на этот счет, и, видя, что дело, святое для меня, так пошло трактуется этими господами, я горячо заметил N неприличие его выходки. Он хотел что-то отвечать и, по обычаю, заикнулся, и, стоя предо мной, только производил неприятное трещание горлом. Я сказал, что его острота обидна для всех, имеющих несчастье считать его своим товарищем, и что между нами много есть людей, которым интересы русского народа ближе к сердцу, нежели какой-нибудь чухонской свинье. Выговоривши это слово, я уже почувствовал, что сделал глупость, обративши внимание на слова пошлого мальчишки; но начало было сделано. N сказал мне сам какую-то грубость, и я продолжал ругаться с ним, пока не заставил его замолчать грозным движением, которое можно было растолковать как намерение прибить N. Движение это было уже не искренно, а просто рассчитано. Через пять минут я совсем эту историю позабыл, увлекшись течением мыслей – в одной из статей первой книжки «Современника», которую стал читать, чтобы успокоиться…»

К последним годам институтского курса относится и начало литературной деятельности Добролюбова. От стихов, которые он начал писать, как мы видели, уже на семинарской скамье, он перешел к прозе. В 1855 году выпустил 19 номеров рукописного журнала «Слухи» и тогда же принялся за опыты в беллетристическом роде. Вот что сообщает об одном из этих опытов Радонежский:

«Если не ошибаюсь, в феврале 1855 года я отправился в лазарет. В лазарете я нашел Добролюбова здоровым. Он по вечерам там что-то писал и записывался иногда далеко за полночь. Я полюбопытствовал спросить: „Что ты пишешь,

Николай?…“ – „А вот слушай“. И он мне прочел отрывок из предполагаемого романа. Отрывок этот составлял первые главы. В них, помню, дело шло о *воспитании* двух мальчиков. Один из них был аристократенок – маменькин сынок, другой – приемыш, соединенный брат, служивший компаньоном барчонку… Мне особенно памятны те страницы, где автор говорил о деспотических отношениях первого к последнему, – и сцена, где мальчик, приемыш-сирота, однажды отдал встреченной им на улице девушке-нищей, босой, с окровавленными ногами, свои сапоги, за что барыня-мать больно высекла своего приемного сына. Я долго слушал этот рассказ, полный горячего сочувствия к сироте и читанный Добролюбовым с большим одушевлением… На глазах у меня навернулись слезы. Потом эти мальчики были отданы в одно учебное заведение, вместе учились, кончили курс удачно. Барчонок жил и учился с протекцией… Сирота сам собой, без помощи, всегда в борьбе с нуждой и людьми, под влиянием чего характер последнего выработался симпатичный, твердый, самостоятельный. Чтение, помню, кончено было (тут же был и конец рукописи будущего большого романа) на том месте, когда эти два героя начинают служебную карьеру, как и следовало ожидать, различными путями. Маменькин сынок поступает под крыло какого-то директора департамента, а сирота сам где-то находит для себя место. Заглавия этого романа мне тогда Добролюбов не сказал, вероятно, и сам еще не знал, как его назвать; но заметил мне, что пишется легко, что вовсе не такой труд, как прежде думал, писать повести. Кажется, эти повести и романы покойный Добролюбов так и не кончил.

Когда Добролюбов кончил чтение, я спросил:

– Ужели ты, Николай, способен писать романы? Я считал тебя более серьезным…

– Недаром у меня ничего и не выходит. «Воображения» у меня вовсе нет. Я, замечаешь, резонерствую, и это скверно… Впрочем, покажу Чернышевскому, что он скажет, – отвечал мне Добролюбов.

На той же неделе он отправился, кажется, с неоконченной повестью к Чернышевскому. После того он мне передал результат литературного консилиума: «Чернышевский мне положительно сказал, чтобы я не совался в беллетристику, что я пишу не повести, а *критику* на сцены, мною *придуманные…»* Эти слова – буквально подлинные Добролюбова».

Может быть, и эту самую повесть, а может быть, и другую присылал, по словам А. Я. Головачевой-Панаевой в ее воспоминаниях, Добролюбов – И. И. Панаеву, бывшему одним из редакторов «Современника». Когда Добролюбов пришел за

ответом, Панаев возвратил ему рукопись с наставлением: лучше прилежнее готовить свои уроки, чем тратить бесполезно время на сочинение повестей. Бывшей в это время в соседней комнате жене Панаева стало жаль юношу, огорошенного отказом и наставлением. Она взяла у него рукопись и передала ее Некрасову. Некрасов прочел в свою очередь рукопись и предлагал Добролюбову переделать ее и напечатать, но Добролюбов не захотел этого и взял рукопись обратно, причем не замедлил поразить Некрасова, когда тот с ним побеседовал: «Такой умный, развитой юноша, – говорил Некрасов после ухода Добролюбова, – но, главное, когда он мог успеть так хорошо познакомиться с русской литературой? Оказалось, что он прочитал массу книг, и с таким толком!»

Неудачи беллетристических опытов подтолкнули Добролюбова испытать себя в качестве критика, и вот в 1856 году, за год до окончания курса, товарищ его Н. Турчанинов доставил в редакцию «Современника» первую критическую статью его о «Собеседнике любителей российского слова», которая и была напечатана в №№ 7 и 8 «Современника» того же года. Статья эта сразу была замечена в литературных кружках и поразила всех как эрудицией автора, так и сдержанной, холодной иронией, дававшей повод читателям во многих исторических чертах давно минувшего открывать темные стороны современной эпохи. Какую сенсацию произвела эта первая статья Добролюбова, можно судить по тому, что против нее выступил в № 10 «Отечественных записок» такой патриарх истории русской литературы и библиографии, как Галахов, и затем в № 11 «Современника» последовал ответ Добролюбова, по своей беспощадной злой иронии превзошедший ту самую статью, которая послужила поводом к полемике.

Сверх того, в восьмом номере «Современника» 1856 года была напечатана статья под заглавием «Отчеты главного педагогического института», в которой, под личиною громких похвал деятельности институтского начальства, было подпущено много яда, испортившего немало крови у господ, стоявших во главе института. Обе статьи были напечатаны под псевдонимом «Лайбов» (составленным из последних слогов имени и фамилии автора: Николам Добролюбов). Настоящее же имя автора было скрыто в глубокой тайне во избежание каких-либо неприятностей в институте. Добролюбов должен был отложить свое сотрудничество с «Современником» до окончания курса, ограничившись в последний год пребывания своего в институте помещением нескольких педагогических статеек в «Журнале для воспитания» Чумикова и Паульсона.

Но и после первых успехов на поприще критики и публицистики мечта сделаться беллетристом еще не покидала Добролюбова. Так, в № 8 «Современника» за 1857 год был напечатан рассказ Добролюбова «Донос», а в № 5 1858 года – «Делец». Оба рассказа были подписаны псевдонимом «Н.А. Александрович», принадлежат к господствовавшему в то время обличительному жанру, но ничего выдающегося собою не представляют. Но как ни тщательно было скрыто от педагогического начальства имя автора «Отчета», оно, по-видимому, кое о чем догадалось, и Добролюбов не остался вне подозрений. Недаром же, несмотря на то, что в 1857 году он окончил курс в институте с аттестатом на звание старшего учителя и за отличные успехи по всем наукам был удостоен золотой медали, директор института Иван Иванович Давыдов не дал ему этой медали из личного к нему нерасположения.

Глава IV

Материальные заботы и хлопоты по окончании курса института. – Вступление в число членов редакции «Современника». – Отсутствие самомнения и скромность Добролюбова. – Любовные неудачи. – Жизнь при редакции «Современника» (1858–1860). – Неусыпное трудолюбие. – Ссора Тургенева с Добролюбовым и Некрасовым

По окончании курса наступили для Добролюбова, как и в жизни каждого бедняка, естественные заботы и тревоги о том, как устроиться и по какой идти дороге. С одной стороны, любовь к родине, желание жить вблизи родных и воспитывать под личным присмотром братьев и сестер тянули его в Нижний Новгород на место учителя гимназии; с другой – перед ним открывалось литературное поприще, сулящее ему, кроме славы, почета и возможности более широкого влияния на современников, в значительно большей степени выгодный заработок. Но вместе с тем в качестве казенного воспитанника педагогического института он был человек подневольный, обязан бьш несколько лет служить по министерству народного просвещения и имел основание опасаться, что недовольное им начальство сошлет его на службу в какую-нибудь непроглядную глушь. Вот какими словами выражает он все эти тревоги в письме своему зятю 3 апреля 1857 года:

«Я совершенно раздумал служить в Нижнем; все мне советуют остаться в Петербурге, и я сам вижу, что *здесь могу быть несравненно полезнее для моих сестер и братьев.* У меня здесь теперь знакомств множество; профессора меня знают как человека отлично умного, и этим, конечно, нужно пользоваться,

пока они не успеют забыть меня; я пишу и перевожу, и довольно близок к некоторым литературным кругам, – следовательно, *здесь для меня готовы хоть сейчас же все средства к жизни – не уроки, так служба, не служба, так литература.* Особенно литература – почетный, полезный и выгодный род занятий. Мне даже как-то странно иногда подумать, что с небольшим усилием я в день могу выработать месячное твое жалованье. Суди сам, должен ли я отказываться от этого *для того, чтобы удовлетворить нежной прихоти сердца…* Но между тем нужно тебе заметить, что начальство мое после всех историй, какими я насолил ему, радо будет отправить меня в Иркутск или в Колу, а никак не оставить в Петербурге. Директор уже давно порывался меня выгнать, да профессора не позволяли… Так теперь я должен сам себе отыскивать место. И я почти уже нашел место домашнего учителя, при котором моими трудами могу наверное получать столько, сколько учитель же гимназии, т. е. от 500 до 600 рублей. А там и перейду на казенное место. Главное только, чтобы быть в Петербурге; иначе я пропаду от тоски и лени, потому что, сознаюсь, ведь в Нижнем трудно сыскать занятие по душе; а в какой-нибудь Костроме или Пензе и решительно коптителем неба сделаешься. Поэтому в первое время по окончании курса намерен я хлопотать о месте, а там, устроившись уже, ехать в Нижний».

Князья Куракины, у которых Добролюбов давал уроки, выразили готовность сделать все необходимое для того, чтобы Добролюбов получил формальное право отказаться от учительской службы в провинции и остаться в Петербурге. Но обошлось без этого, так как инспектор Второго кадетского корпуса Г.Г. Данилович зачислил Добролюбова номинально служащим в этом корпусе. Во время же летней поездки Добролюбова по окончании курса в Нижний Новгород Некрасов объявил ему, что по возвращении в Петербург он будет получать от редакции «Современника» по 150 рублей месячного жалованья, а с увеличением числа подписчиков – и более.

Таким образом, материальное положение Добролюбова было вполне обеспечено, и он прямо с институтской скамьи встал во главе журнала – явление до того времени еще небывалое в русской литературе.

Но замечательно, что этот быстрый успех нимало не закружил головы молодого литератора.

Здесь мы подходим к черте характера Добролюбова, весьма существенной и крайне симпатичной, обличающей, по нашему мнению, истинное величие души, свойственное лишь немногим избранникам судьбы: именно полное отсутствие всякой кичливости умом, знанием и положением в обществе, всякого

самодовольства и рисовки. В то же время в скромности этой не было и следа чего-либо напускного, деланного. Это отнюдь не было лицемерным смирением паче гордости. Стоя во главе литературы, Добролюбов непритворно и совершенно наивно продолжал смотреть на себя как на бедного семинариста, учившегося кое-как и кое-чему на медные деньги и прокармливавшего мелкими журнальными статейками целую ораву ребятишек, и в то же время с искренним сокрушением высказывал то «святое недовольство», которое свойственно лишь великим людям и которым была преисполнена душа его.

Так, отправившись летом в 1858 году лечиться в Старую Руссу, вот что писал он оттуда 8 июня своей приятельнице Л.Н. Пещуровой:

«Мне горько признаться вам, что я чувствую постоянное недовольство самим собой и стыд своего бессилия и малодушия. Во мне есть убеждение (очень вероятно, что и несправедливое) в том, что я по натуре своей не должен принадлежать к числу людей дюжинных и не могу пройти в своей жизни незамеченным, не оставив никакого следа по себе. Но вместе с тем я чувствую совершенное отсутствие в себе тех нравственных сил, которые необходимы для поддержки умственного превосходства. Кроме того, я лишен и материальных средств для приобретения знаний и развития своих идей в том виде, как я бы желал и как нужно было бы. Тоска и негодование охватывают меня, когда я вспоминаю о своем воспитании и провожу в уме то, над чем до сих пор я бился. Лет с шести или семи я постоянно сидел за книгами и рисунками. Я не знал детских игр, не делал ни малейшей гимнастики, отвык от людского общества, приобрел неловкость и застенчивость, испортил глаза, одеревенил свои члены… Если бы я захотел теперь сделаться человеком светским, то не мог бы уже по самому устройству моего организма, которое приобрел я искусственно. А между тем и в деле науки и искусства я не приобрел ровно ничего. Лет пять рисовал я разных солдатиков, а теперь не могу вывести ни собачки, ни домика, ни лошадки. Читал я пропасть книг, но что читал – если бы вы знали!.. Недавно перебирал я свои старинные тетрадки и нашел, что в 13–14 лет я не имел ни малейшего понятия о вещах, которые хорошо известны моим теперешним десятилетним ученикам и даже ученицам. Чего же вы хотите? Пятнадцати лет я начал учиться по-немецки, и до сих пор еще не без труда читаю ученые немецкие книги, – а повести их и теперь не умею читать. По-французски стал я учиться на восемнадцатом году, и если теперь читаю на этом языке, то именно благодаря вам. Английского до сих пор не знаю. Скольких же сокровищ знания

лишен я был, до двадцати лет умея читать только русские книги! Да и из русских книг я читал не то, что было нужно, и до последнего времени остался каким-то недоумкой… Мне тяжело и грустно бывает, когда мои теперешние знакомые и приятели начинают иногда говорить со мной как о вещах известных всем о таких предметах науки и искусства, о которых я не имею понятия. Я тогда терзаюсь и сержусь, и хочу все время посвятить учению… Но это легко сказать. Пора ученья прошла. Теперь мне нужно работать для того, чтобы было чем жить. А работа моя, к несчастью, такая, что учить других надобно. Я сам удивляюсь, как меня хватает на это, и этим я измеряю силу моих природных способностей. Иногда мне приходится встречать людей тупых и бесполезных, но громадными средствами обладающих для образования и развития себя. Тогда я думаю: если бы я так был воспитан, если бы я столько знал и имел средств, – какой замечательный человек из меня бы вышел! Но за неимением этого я работаю, пишу кое-как; и как же вы хотите, чтобы мое писание составляло для меня утешение и гордость? Я вижу сам, что все, что пишу, слабо, плохо, старо, бесполезно, что тут виден только бесплодный ум, без знаний, без данных, без определенных практических взглядов. Поэтому я и не дорожу своими трудами, не подписываю их, и очень рад, что их никто не читает… Чтобы удовлетворить вашему желанию, скажу вам, что мною писана вся критика и библиография в „Современнике“ нынешнего года. Не правда ли, что вы никогда не разрезали ни одной страницы из этого отдела журнала? И не прав ли я был, говоря, что статей моих вы, как и большая часть читателей, никогда не могли не только прочитать, но даже и заметить?»

Это отсутствие самомнения и самоуверенности в соединении с неизбежным их спутником – застенчивостью– особенно неблагоприятно отражались на интимной жизни Добролюбова и его отношениях с женщинами. Мы видели, что уже в годы институтского курса он влюблялся и жаждал любви. По выходе же из училища и по мере наступления более зрелых лет эта жажда делалась все более интенсивной. Нежное, привязчивое сердце Добролюбова более всего ценило в любви ее духовную, поэтическую сторону и жаждало идеальной любви в самом высшем смысле этого слова.

«Если бы у меня была женщина, – пишет он своему приятелю И.И. Бирдюгову 17 декабря 1858 года, – с которой я мог бы делить свои чувства и мысли до такой степени, чтобы она читала даже вместе со мной мои (или, положим, все равно, – твои) произведения, я был бы счастлив и ничего не хотел бы более. Любовь к такой женщине и ее сочувствие – вот мое единственное

желание теперь. В нем сосредоточиваются все мои внутренние силы, вся жизнь моя, и сознание полной бесплодности и вечной неосуществимости этого желания гнетет, мучает меня, наполняет тоской, злостью, завистью, всем, что есть безобразного и тягостного в человеческой натуре».

С такими высокими требованиями к любви Добролюбов идеализировал даже и мимолетные страсти, на которые у нас принято смотреть с преступным легкомыслием. Так, летом 1858 года во время своей поездки в Старую Руссу Добролюбов сблизился с девушкой, по словам его биографа, доброй и честной, но совершенно необразованной, не умевшей даже и держать себя хотя бы так, как умели держать себя горничные, жившие в услужении у семейств не то что светского, а чиновничьего круга. После первого увлечения Добролюбов вскоре отрезвел и понял, что никогда не любил этой девушки, а просто увлечен был *сожалением,* которое принял за любовь.

«Я и теперь жалею ее, – пишет он в том же письме к Бирдюгову, – мое сердце болит о ней, но я уже умею назвать свое чувство настоящим именем. Любви к ней я не могу чувствовать, потому что нельзя любить женщину, над которой сознаешь свое превосходство во всех отношениях. Любовь потому-то и возвышает человека, что предмет любви непременно возвышается в глазах его над ним самим и над всем остальным миром.

Ни одна не станет в споре
Красота с тобой… —

говорит Байрон в переводе Огарева к своей bien-aimée, – и я убежден, что кто не чувствует того же самого относительно своей милой, тот не любит в самом деле, а обманывает себя, увлекаясь чувственностью или бездельем… Между тем к В. я никогда этого не чувствовал… Какая же это любовь?»

Придя к такому сознанию, Добролюбов решился немедленно прекратить свою связь с девушкой, но, судя по тому же письму, нелегко ему это было:

«Если бы ты видел, – пишет он, – как горько, как безумно плакал я, объявляя В. мое решение о прекращении наших отношений… О чем были эти слезы? Всего скорее, это был плач о том, что так долго не умел я понять своей души и в своей ничтожности довольствовался таким мизерным чувствованьицем, принимая его даже за святое чувство любви… Несчастная, юродивая у меня натуришка…»

Но и честно прервавши связь с девушкой, Добролюбов не бросил ее без всякого призрения и участия, как это обыкновенно

делается у нас зачастую: он до самой смерти заботился о ее безбедном существовании, высылая ей деньги, тревожась, когда до его слуха доходила весть о ее болезни; равно и после его смерти друзья, чтя его память, не оставили ее без участия до тех пор, пока, выучившись какому-то ремеслу, она не получила возможности встать окончательно на ноги.

Нужно заметить, что все признания Добролюбова о своих любовных приключениях (которые, т. е. признания, он делал постоянно Бирдюгову, избрав почему-то его одного в поверенные своих сердечных дел) носят крайне минорный тон. Застенчивый, неловкий, неуклюжий семинарист, каким он оставался до самой своей смерти, Добролюбов не имел успеха среди женщин, и это его глубоко огорчало. Так, в письме к Бирдюгову 18 января 1859 года он жалуется:

«По крайней мере, обо мне до сих пор женское мнение таково, что может сокрушить самую смелую самоуверенность. Недавно Панаев возил меня в маскарад и пробовал навязать меня интриговавшим его маскам; попытки были неудачны. Я бродил „сумрачен, тих, одинок“ и т. д. Встретился один офицер, которого видел я у Л-ского. Этот, сострадая моей участи, тоже хотел напустить на меня одну знакомую ему маску, но получил в ответ, что „к этакому уроду она даже подойти не в состоянии“. Могу прибавить и еще случай: Л-ская хочет женить меня на своей сестре, а та не хочет выходить за меня; наконец, говорит, что хочет, потому что мне очень удобно будет рожки приставлять. Все это и самая женитьба, разумеется, делается и говорится на смех; но ты видишь, что и самые шутки принимают всегда оборот не весьма лестный для моего самолюбия».

К этой девушке, которую в письмах к Бирдюгову Добролюбов называет А.С., он был неравнодушен; она, по-видимому, кокетничала с ним и кружила ему голову. Так, в письме к Бирдюгову 22 апреля 1859 года он пишет:

«Недавно мне показалось, что в обращении А.С. со мной есть какая-то нежность, как будто начало возникающей любви. Это было для меня так ново и приятно, что я не мог не обратить своего внимания на чувство, возбужденное во мне этим случаем. Строгий анализ показал мне, что чувство это – не любовь, а просто приятное щекотание самолюбия. *Она* меня еще и теперь очень интересует, даже гораздо больше, чем прежде, но, судя по тому, *что́ именно* пробуждается во мне при ее внимательности, я убеждаюсь, что весь интерес пропадет, как только я узнаю, что она меня полюбила. Теперь я только догадываюсь, что могу заставить ее полюбить себя, но все еще сомневаюсь, и потому продолжаю с ней обращаться так, чтобы добиться приятной

несомненности. Состояние это, когда надежда перевешивает сомнение, довольно приятно, и, если бы она была столько умна, что весь век могла бы держать меня в таком состоянии, я бы завтра же на ней женился. Но я знаю, что таких умных женщин нет на свете, знаю, что очевидность скоро должна заступить место сомнения и надежды, а потому развязка моего любезничанья очень близка. Я даже, по всей вероятности, не стану и ждать того, чтобы она действительно меня полюбила, – с меня довольно будет убеждения, что она совершенно готова на это!!. «А если она в самом деле полюбит и будет страдать?… Не лучше ли бросить эти игрушки огнем?» Вздор, мы с ней оба не таковские… Любовь, не получая себе пищи, пройдет у нее в полтора дня… А если и нет, так что за беда?

Пускай ее поплачет, —
Ей ничего не значит…

Но, разумеется, тут-то я и оказываюсь свиньей. Я себя и не оправдываю…»

Можно представить себе разочарование Добролюбова в тщете всех подобных размышлений, когда он окончательно убедился, что А.С. ни на одну минуту не была расположена полюбить его.

Но самым интересным, характерным, обрисовывающим Добролюбова с головы до ног является мимолетный роман, происшедший с ним на масленице 1860 года и рассказанный им в письме к Бирдюгову 25 февраля 1860 года. Добролюбов был позван к одному знакомому на праздник совершеннолетия его дочери.

«Этобыло в субботу, 6 февраля, – пишет он. – Приехало народу очень много, танцевали пар 20, играли столах на 5. И между танцующими открыл я одну девушку, от которой не мог оторвать глаз, – так была хороша она. Прежде всего поразил меня контраст черных глаз и бровей ее со светло-русыми волосами, потом розовая нежность ее кожи, правильное до последней степени, симметрическое расположение всех черт, ротик с улыбкой счастья и доброты и такое умное, живое и в то же время ласкающее выражение всей физиономии, особенно глаз… Ах, какие это глаза, если бы ты видел! Они не жгут и не горят, а как-то светятся и греют тебя… Я впивался в нее и почел бы себя счастливым, если бы на меня упал один взгляд этих глаз. Но она танцевала, а я был в толпе смотрящих из дверей. А как она танцевала! Сколько прелести и грации было в каждом ее движении, в каждом повороте головы, в каждой улыбке, которой она разменивалась со своим кавалером! Нет, никакой Грез

никогда бы не мог создать такой головки! А тут она была предо мною – живая, порхающая, говорящая с другими! А я не смел даже подойти к ней близко… В первый раз я от глубины души проклял свою неуклюжесть и свое неуменье танцевать. Но проклятиями взять было нечего. Я решился действовать иначе. Я спросил: кто она? Мне назвали фамилию; спросил: с кем она приехала? С отцом. Я удовольствовался и прошел в другую комнату. Там спросил я, чтобы мне показали г-на такого-то (т. е. отца ее). Мне указали, и я начал около него вертеться. Подслушал я, что он не успел составить себе партии и ищет партнеров; тотчас же побежал я к хозяину и попросил, чтобы он устроил партию в ералаш; такой-то с таким-то сейчас изъявили желание играть, я – тоже хочу, остается найти четвертого. Хозяин, ничего не подозревая, сладил партию, и я стал играть с почтенным отцом, которому тут же был и представлен. Надо тебе сказать, что он – генерал со звездой, и, несмотря на то, я ему куртизанил в картах и вообще ужасно егозил перед ним. Пойми, как я врезался-то! Разумеется, вся эта история кончилась тем, что мы познакомились. Я выспросил его адрес и на другой день явился к нему с визитом и получил приглашение бывать по средам. Настает среда, еду. И нужно же так случиться, что у него какой-то комитет пришелся тут, его дома нет, жене его я не представлен, общество все незнакомое. Попросил одного случившегося знакомого представить меня хозяйке, но и после этого остался одинок. Только и нашел отрады, что в разговоре с одним молодым путейским офицериком, который пренаивно спрашивал меня: жив ли Кольцов, а впрочем, находил, что Бенедиктов плох и пр. Наконец явился хозяин, и меня посадили за карты. Я пасовал каждую игру, и мне действительно ничего не шло (играли в табельку), да я и не о том думал. Наконец, уставши донельзя, я посадил вместо себя другого, а сам вышел в ту комнату, где были дамы. Там оказался и офицерик. Все смеялись, рассказывали что-то и, между прочим, играли в дурачки, страшно плутуя и оставляя каждый раз какую-то старушку, которая тоже плутовала, да не совсем искусно. Я попросил позволения присоединиться к игре, в которой и *она* участвовала. Сесть мне пришлось возле нее, так что ей приходилось ходить ко мне. В первую же игру она пошла мне тремя картами, когда у меня было только две на руках. Я показал ей их, а она кивнула головой на схоженные ею карты и сказала выразительно: «Кройте». Я посмотрел, в ходе оказалось четыре карты, а не три. Я тогда нечаянно уронил одну из них на пол, потом поднял и взял себе на руки, а затем раскрыл все карты, и мы оба вышли. Подобные проделки повторялись каждую игру, и веселью конца не было. В промежутках шли

рассказы, анекдоты и всяческое посильное остроумие. Она была на этот раз небрежно одета и причесана и производила менее эффекта, но я зато убедился, что она действительно умна и имеет живое сердце. С какими мечтами ехал я оттуда, с каким нетерпением ждал следующей среды! И не выдержал: среди недели нашел дело к ее отцу и заехал в 12 часов, рассчитывая застать всех за завтраком. Но остался в дураках: ее не видал, а отца встретил уже почти на пороге: он собирался уходить из дому. Наконец являюсь сегодня в половине десятого, здороваюсь, смотрю: одни играют в карты, и сама хозяйка тоже, другие рассуждают о том, можно ли назвать счастливым в производстве такого-то подполковника, и проводят параллель с его товарищами; дамы все рассуждают о сгоревших на масленице двух девушках. Я осмотрелся и не нашел около себя дружелюбного лица, с которым бы мог заговорить, кроме опять того же офицерика. В прошедшую среду мы с ним немножко сошлись, так что я начал разговор таким образом: «Хорошо мое положение в этом доме, никого не знаю, никому не представлен, и заговорить ни с кем не могу». Он посмотрел на меня, и тут только заметил я, что он чем-то особенно сияет. «А вы знаете мое положение в этом доме?» – спросил он меня. «Какое? В том же роде, как и мое?» – «Нет, совсем в другом, – отвечает он и ухмыльнулся. – Я сегодня объявлен здесь женихом». – «Как?» – закричал я. «Да, я женюсь на дочери N». Не знаю, что со мной сделалось при этом известии. Я судорожно сжал рукой горячий стакан чаю, бывший у меня, прислонился к двери, и боль обожженной руки отвлекла начинавшееся головокружение. «Я очень доволен», – прибавил он, весело смотря мне в глаза. «Еще бы, – отвечал я. – Да это такое счастье, больше которого я ничего и не подумал бы пожелать себе». Он посмотрел на меня несколько странно; я опомнился. «Ну, поздравляю вас, – начал я добродушным тоном. – Она, кажется, очень умная и добрая, и притом…» Словом, я пустился в панегирик ей, который не был ему неприятен… Между прочим я спросил, давно ли он знаком с ней; три года, говорит. Я заглянул в гостиную, где она гуляла с какой-то подругой. У нее на лице такая радость, столько любви и счастья; посмотрел я на них вместе: она так кокетливо оборачивает к нему головку, так томно кладет свою руку на его, так на него смотрит, как будто говорит: «Возьми меня, возьми, я твоя…» Посмотрел я на все это, потом посмотрел на часы: было четверть одиннадцатого. Я пробыл всего три четверти часа; уехать было еще нельзя. Я подошел к играющим, глядел в карты, но ничего не понимал. Поставив, однако, два ремиза, хозяин обратился ко мне с вопросом: «Ну, как же было не купить?» – Я не

вдруг сообразил смысл вопроса, не вдруг понял, что по требованию приличия должен я был сказать «да» или «нет»… Я промычал что-то и вскоре потом отошел. Пристал я к какому-то разговору; но в голове у меня ходило что-то, точно я ухом прилег к котлу паровоза: так и кипело, так и ходило все – глум и бестолковщина. В середине разговора я очнулся как-то, слышу – хвалят какого-то профессора, должно быть, за то, что добросовестно за наукой следит; я кивнул головой и промычал. Потом еще раз очнулся: говорили уж что-то об операторах, я улыбнулся в знак согласия и посмотрел на часы. Было одиннадцать. Я взял шляпу и стал прощаться. Поклонившись всем мне незнакомым, я подаю руку жениху. «А вы знакомы?» – спросила мать, до того не говорившая со мной ни слова. «Как же, maman, прошедшую среду познакомились; мы еще все в дурачки играли», – с какой-то детской радостью и гордостью подхватила она. И при этом она так на него поглядела, что в значении ее слов нельзя было сомневаться. Они значили: «Не правда ли, что ты, мой милый, лучше всех здесь! Вот чужой человек, в первый раз явившийся, – как, не сошедшись ни с кем, тотчас же познакомился с тобой». Мне показалось даже, что она улыбнулась ласковее при прощаньи, именно за то, что я сошелся с ее милым. А отец, прощаясь со мной, наивно проговорил: «А жаль, что вам партия не составилась сегодня». Я немножко дрогнул и отвечал: «Что делать!» – таким отчаянно-грустным тоном, что меня все окружающие сочли, вероятно, чудовищным экземпляром записного картежника. А я думал совсем о другой партии…

Дорога от них ко мне была длинная; «ванька» попался плохой; в лицо мне хлестал мокрый снег. В груди у меня шевелились рыданья, я хотел всплакнуть от безделья; но и то как-то не вышло. Дома *принялся было* за исправление одной рукописи, которую хотел теперь печатать; но почувствовал себя в настроении к дружеским излияниям, и принялся за письмо к тебе…

Итак, от 6 до 24 февраля я предавался безумной, хотя и робкой, надежде на то, что могу быть счастлив. Сколько было тут планов, мечтаний, дум и сомнений! Радостных минут только не было, исключая, впрочем, той, когда я получил приглашение ее отца бывать у них, и тех немногих минут, когда мы играли в дурачки… И вот она, аллегория-то: как я ни плутовал, а все-таки в дураках остался. А она вот выходит! Черт знает что такое!

Я тебе не расписываю своих чувств. Но об их силе ты можешь заключить по несвойственной мне смелости и стремительности действий, высказанных мной в этом случае. Суди же и о важности моего огорчения. Все окружающее меня, все, что я знаю, – дрянь в

сравнении с ней; а я принужден с этой дрянью возиться и любезничать, в то время как у меня сердце защемлено, в мечтах все она, в глазах все ее милый образ и рядом этот жених… добрейший, впрочем, малый, с которым ей жить будет спокойно. Она же институтка и кипучей жизни страстей не ведает; это видно по тому сиянию, которое разлито по ее нежному, доброму и умному лицу. Пусть она будет счастлива, и пусть никто не возмутит ее спокойствия, ее наслаждения жизнью… Я бы заел и погубил ее… И поделом не достается мне владеть такой красотой, таким богатством! – Эх, прощай, Вася. Напиши мне что-нибудь. Твой Н.Д.

P.S. А ведь и офицерик-то плюгавенький… Эх-ма!!!»

Любовные неудачи были, естественно, причиной того, что Добролюбов все более и более погружался в литературный труд, находя в нем единственное утешение в своей жизни. Надо было удивляться, говорит Головачева в своих воспоминаниях, когда же Добролюбов успевал перечитать все русские и иностранные газеты, журналы, все выходящие новые книги, массы рукописей, которые тогда присылались и приносились в редакцию. Авторам не нужно было по нескольку раз являться в редакцию, чтобы узнать об участи своей рукописи. Добролюбов всегда прочитывал рукопись к тому дню, который назначал автору.

«Много времени терялось у Добролюбова на беседы с новичками-писателями, желавшими узнать его мнение о недостатках своих первых опытов. Если Добролюбов видел какие-нибудь литературные способности в молодом авторе, то охотно давал советы и поощрял к дальнейшим работам. Немало труда и времени нужно было употребить также на исправление некоторых рукописей. Наконец приходилось беспрестанно отрываться от дела и для объяснений с ними. Таким образом, Добролюбов мог приниматься за писание своих статей только вечером и часто засиживался за работой до четырех часов утра».

Для того чтобы неотступно быть при редакции, Добролюбов после своей поездки в Старую Руссу поселился в двух комнатках, которые Некрасов нарочно принанял для него к своей квартире и велел пробить дверь в людскую, чтобы Добролюбов мог иметь прямое сообщение с редакцией.

Когда Головачева вернулась с дачи, успевший уже к тому времени переехать к ним Добролюбов сказал ей, улыбаясь:

– Вот и я попал на литературное подворье.

«Он вспомнил, – замечает при этом Головачева, – что я, беседуя с ним в первый раз на даче, выразилась, что наша квартира точно литературное подворье, так как у нас постоянно жили литераторы».

– Не думаю, – возразила Головачева, – чтобы вам было удобно жить в таких маленьких комнатах и так близко от нашей людской – вам будут мешать работать.

– В меблированных комнатах еще более неудобств, – отвечал он, – я часто оставался без обеда; заработаешься и забудешь вовремя потребовать его, а потом принесут Бог знает откуда обед холодный, скверный; съешь его и почувствуешь боль в желудке, а я давно уже страдаю хронической болезнью желудка и чувствую, как слабею от этой болезни.

«Сначала я посылала, – говорит далее в своих воспоминаниях Головачева, – Добролюбову в комнату утренний чай и завтрак, потому что Некрасов и Панаев вставали поздно и в разное время; но немного спустя он попросил у меня позволения приходить пить чай ко мне (я вставала рано), ссылаясь на то, что в это время без него уберут его комнаты, и он тотчас же после чая может сесть за работу.

За утренним чаем я заставляла Добролюбова есть что-нибудь мясное, потому что иногда он приходил к чаю, совсем не ложась спать и проработав всю ночь. Так как при этом я настояла, чтобы Добролюбов после еды отдыхал с полчаса, то к чаю начал являться и Чернышевский, чтобы, пользуясь этим свободным временем, поговорить с Добролюбовым.

Их отношения удивляли меня тем, что не были ни в чем решительно схожи со взаимными отношениями других окружавших меня лиц. Чернышевский был гораздо старше Добролюбова, но держал себя с ним как товарищ».

Несколько позже, по утрам, когда вставал Некрасов, Добролюбов беседовал с ним относительно состава книжек «Современника» и вообще о статьях, предназначавшихся для напечатания в журнале. Он очень заботился, чтобы ни одна фраза не противоречила направлению журнала, и волновался, если автор статей выражал свои мысли слишком многословно. Особенным многословием, по словам Головачевой, отличался литератор *Ш.* Однажды Добролюбов настаивал на необходимости выкинуть из его статьи три страницы.

– За что же, – говорил Добролюбов, – заставлять читателя терять время на ненужную болтовню автора, разводящего на трех страницах мысль, которую можно выразить двумя фразами; да и добро бы, если бы эта мысль была нова, а то самая избитая.

– Не стоит поднимать возню! – заметил Некрасов. – Потом объяснения с Ш.

– Я беру на себя эти объяснения.

– Это не избавит и меня от них. И так на «Современник» все точат зубы! Обрадуются, что у редакции выйдет неприятность с

Ш… и пойдут разные толки.

– Редакция обязана дорожить мнением читателя, а не литературными сплетнями, – отвечал Добролюбов. – Если бояться всех сплетен и подлаживаться ко всем требованиям литераторов, то лучше вовсе не издавать журнал; достаточно и того, что редакции нужно сообразоваться с цензурой. Пусть господа литераторы сплетничают, что хотят; неужели можно обращать на это внимание и жертвовать своими убеждениями? Рано или поздно правда разоблачится, а клевета, распущенная из мелочного самолюбия, заклеймит презрением самих же клеветников.

Не ограничиваясь критическими статьями и рецензиями, Добролюбов, как известно, в конце 1858 года открыл в «Современнике» особенный сатирико-обличительный отдел под заглавием «Свисток».

«Свисток», по словам Головачевой, всегда сочинялся после обеда, за кофе. Тут же Добролюбовым, Панаевым и Некрасовым импровизировались стихотворения. В «Свистке» принимал участие и В. Курочкин. Когда из-за «Свистка» в литературе поднялась целая буря на «Современник», Головачева шутя говорила Добролюбову: «Что, освистали вас?»

– А мы еще громче будем свистать! – отвечал Добролюбов. – Эта руготня только подзадорит нас, как жаворонков в клетке, когда начинают во время их пения стучать ножами о тарелку. «Свисток» сделает свое дело, осмеет все пошлое, что печатают бездарные поэты. Серьезно разбирать всю эту глубокомысленную поэтическую пошлость и фальшь не стоит; за что утруждать бедного читателя, а «Свисток» он прочтет легко и еще посмеется.

Не ограничиваясь всеми этими неусыпными трудами, Добролюбов не переставал заботиться о семье, вызвал к себе двух своих маленьких братьев, Володю и Ваню, для подготовки к поступлению в средние учебные заведения, и сам занимался с ними между делами приготовлением к вступительному экзамену. Кроме забот о сестрах и братьях, Добролюбову пришлось заботиться об устройстве на службу дяди, также приехавшего к нему в Петербург.

Идеальное прямодушие во всех литературных отношениях, отсутствие поклонения каким бы то ни было авторитетам и заискиваний перед громкими именами и знаменитостями, наконец, полное отрицание каких бы то ни было компромиссов, подлаживаний и уступок ради практических соображений было главной причиной того столкновения Добролюбова с Тургеневым, которое повело за собой разрыв с редакцией «Современника» как Тургенева, так и некоторых других писателей 40-х годов

(Писемского, Анненкова, Дружинина). С появлением в «Современнике» новых критиков и публицистов старые литераторы начали коситься на молодых, и в журнале образовалось как бы два враждебных лагеря. Добролюбов не мог выносить обхождения с ним свысока Тургенева, и задолго до окончательного разрыва произошло между ними явное обнаружение взаимной неприязни. Раз, придя в редакцию, Тургенев сказал Панаеву, Некрасову и находившимся тут некоторым старым знакомым литераторам:

– Господа, не забудьте, я вас всех жду сегодня обедать ко мне, – и затем, поворотив голову к Добролюбову, прибавил: – приходите и вы, молодой человек.

После ухода Тургенева Головачева шутя сказала Добролюбову, что он, должно быть, считает себя сегодня счастливейшим человеком, удостоившись приглашения на обед от главного литературного генерала.

– Еще бы! Такая неожиданная честь!

– Что же, пойдете? – спросила Головачева, будучи уверена, что он не пойдет после такого приглашения.

– К сожалению, у меня нет фрака, а в сюртуке не смею явиться к генералу, – отвечал, улыбаясь, Добролюбов.

Панаев и Некрасов были удивлены, что Добролюбов не хочет ехать вместе с ними на обед к Тургеневу; они не обратили внимания на тон приглашения.

– Вас же приглашал Тургенев, – сказал ему Некрасов.

– За такое приглашение я никогда не пойду к Тургеневу.

Некрасов с удивлением произнес:

– Да он всех так приглашал.

– Вы все его очень короткие знакомые, а я вовсе нет.

– Это у него такая манера, – заметил Панаев.

Должно быть, Некрасов намекнул Тургеневу – почему Добролюбов не пришел обедать, потому что Тургенев в следующий раз сделал ему любезное приглашение, но это не тронуло Добролюбова, и он все-таки не пошел.

Тургенев заметно стал относиться внимательнее к Добролюбову и начал заводить с ним разговоры, когда встречал его в редакции, потому что литературная известность Добролюбова быстро росла. Но Добролюбов все-таки упорствовал и не являлся на тургеневские обеды. Наконец Тургенев обратился к Панаеву:

– Привези ты его обедать ко мне, уверь его, что он не застанет у меня общества, в котором никогда не бывал.

Когда же Добролюбов и после этого не явился к Тургеневу, тот понял, наконец, что причина, по которой Добролюбов не

является на его обеды, заключается вовсе не в страхе встретиться с аристократическим обществом.

– В нашей молодости, – сказал он Панаеву, – мы рвались хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова, а в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов; вообще, сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений; все они, точно мертворожденные. Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости – это какие-то нравственные уроды.

Убедившись, что Добролюбов не поддается на его любезные приглашения, оскорбленный Тургенев начал говорить, что в статьях Добролюбова виден инквизиторский прием – осмеять, загрязнить всякое увлечение, все благородные порывы души писателя, что он возводит на пьедестал материализм, сердечную сухость и с нахальством глумится над поэзией, что никогда русская литература, до вторжения в нее семинаристов, не потворствовала мальчишкам из желания приобрести этим популярность. Кто любит русскую литературу и дорожит ее достоинством, тот должен употребить все усилия, чтобы избавить ее от этих кутейников-вандалов!

Эти воззвания Тургенева доходили до Добролюбова, но он не обращал на них внимания и удивлялся только одному: к чему об этом передают ему?

– Неужели думают, – говорил он, – что я испугаюсь таких угроз и в угоду Тургеневу изменю свои убеждения. Странные понятия у этих господ.

При таких натянутых отношениях достаточно было малейшего повода для окончательного разрыва, и такой повод не замедлил представиться в виде блестящей статьи Добролюбова о романе Тургенева «Накануне», напечатанной в мартовской книжке «Современника» за 1860 год под заглавием «Когда же придет настоящий день». Вот как рассказывает Головачева о том, какой сыр-бор загорелся по поводу этой статьи.

«Добролюбов написал статью о повести Тургенева „Накануне“, и она была послана цензору Бекетову. Все читавшие эту статью находили, что Добролюбов хвалил автора и отдавал должное его таланту. Да иначе и быть не могло. Добролюбов настолько был честен, что никогда не позволял себе примешивать к своим отзывам о чьих-либо литературных произведениях своих личных симпатий и антипатий. Некрасов пришел ко мне очень встревоженный и сказал:

– Ну, Добролюбов заварил кашу! Тургенев страшно

оскорбился его статьей… И как это я сделал такой промах, что не отговорил Добролюбова от намерения написать статью о новой повести Тургенева для нынешней книжки «Современника». Тургенев сейчас прислал ко мне К. с просьбой выбросить из статьи все начало. Я еще не успел ее прочитать. По словам Тургенева, переданным мне К., Добролюбов будто бы глумится над его литературным авторитетом и вся статья исполнена какими-то недобросовестными ехидными намеками.

Я удивилась, каким образом могли попасть в руки Тургенева корректурные листы статьи Добролюбова? Оказалось, что цензор Бекетов сам отвез их Тургеневу из желания услужить. Не желая ссориться с Тургеневым из-за статьи Добролюбова и уверенный, что Добролюбов согласится на уступки, Некрасов отправился объясняться к Добролюбову».

«Через час, – рассказывает дальше Головачева, – Добролюбов пришел ко мне, и я услышала в его голосе раздражение.

– Знаете ли, что проделал цензор с моей статьей? – сказал он.

Я ему отвечала, что все знаю; тогда Добролюбов продолжал: – Отличился Тургенев! По-генеральски ведет себя… Удивил меня также и Некрасов, вообразив, что я способен на лакейскую угодливость. Ввиду нелепых обвинений на мою статью я теперь ни одной фразы не выкину из нее.

Добролюбов прибавил, что сейчас едет объясняться к цензору Бекетову. Я заметила, что не стоит тратить время на объяснения.

– Как не стоит! – возразил Добролюбов, – если у человека не хватает смысла понять самому, что нельзя дозволять себе такое нецеремонное обращение со статьями, которые он обязан цензуровать, а не развозить для прочтения – кому ему вздумается…

Некрасов дважды в этот день был у Тургенева, но, не застав его дома, оставил ему письмо и получил ответ, состоящий из одной фразы:

«Выбирай: я или Добролюбов».

Было уже два часа ночи, когда Некрасов вернулся из клуба. Озадаченный тургеневским ультиматумом и ходя по комнате, он говорил:

– Я внимательно прочел статью Добролюбова и положительно не нашел в ней ничего, чем мог бы оскорбиться Тургенев. Я это написал ему, а он вот какой ответ мне прислал!.. Какая черная кошка пробежала между нами? Остается одно: вовсе не печатать этой статьи. Добролюбов очень дорожит журнальным делом и не захочет, чтобы из-за его статьи у Тургенева произошел разрыв с «Современником». Это повредит журналу да и прибавит Добролюбову врагов, которых у него и так много; в литературе

обрадуются случаю, поднимут гвалт, на него посыпятся разные сплетни, так что гораздо благоразумнее избежать всего этого… Я в таком состоянии, что не могу идти к нему объясняться, лучше вы передайте, какой серьезный оборот приняло дело.

Я отправилась к Добролюбову; он удивился моему позднему приходу. Я придала шутливый тон своему поручению и сказала:

– Я явилась к вам как парламентер.

– Догадываюсь – предлагают сдаться? – с усмешкой спросил он.

– Рассчитывают на ваше благоразумие, которое устранит важную потерю для журнала. Некрасов получил записку от Тургенева…

– Вероятно, Тургенев грозит, что не будет более сотрудником в «Современнике», если напечатают мою статью, – перебил меня Добролюбов. – Непонятно мне, для чего понадобилось Тургеневу придираться к моей статье? Он мог бы прямо заявить Некрасову, что не желает сотрудничать вместе со мной. Каждый свободен в своих симпатиях и антипатиях к людям!.. Я выведу Некрасова из затруднительного положения, я сам не желаю быть сотрудником в журнале, если мне нужно подлаживаться к авторам, о произведениях которых я пишу.

Добролюбов не дал мне возразить и добавил:

– Нет, уж если вы взялись за роль парламентера, так выполняйте ее по всем правилам и передайте мой ответ Некрасову».

Некрасов очутился, таким образом, между двух огней: ему предстояло разорвать или с Тургеневым, или с Добролюбовым. Но какое высокое место ни занимал Тургенев в то время в литературе, в его лице Некрасов терял только талантливого беллетриста; между тем как вслед за Добролюбовым ушли бы и все прочие члены редакции, в руках которых было все ведение журнала и которым журнал был обязан в то время главным своим успехом. Понятно, что Некрасову пришлось пожертвовать своей многолетней дружбой с Тургеневым, тем более, что он и сам мог считать себя обиженным Тургеневым, пристроившим свой роман «Накануне» не в «Современнике», а в «Русском вестнике». Разрыв Тургенева с «Современником», наделавший в литературе много шума и повлекший за собой много сплетен и всякого рода инсинуаций, был вместе с тем разрывом двух партий или, правильней сказать, двух поколений – людей сороковых годов и шестидесятых.

Глава V

Болезнь Добролюбова. – Путешествия за границей. – Смерть

Мы видели, что уже во время институтского курса Добролюбов прихварывал и вообще не отличался цветущим здоровьем. Дурное питание в институтском пансионе, петербургский климат, крайне вредный для слабогрудых людей, в особенности для приезжих с юга, усиленные занятия, с каждым годом все более и более осложнявшиеся, – все это подтачивало здоровье Добролюбова, и в 1860 году обнаружились все признаки быстро развивающейся чахотки.

«Когда по утрам он приходил ко мне пить чай, – говорит Головачева, – в его лице не было ни кровинки; он страдал бессонницей, отсутствием аппетита и чувствовал сильную слабость».

«В прошлом декабре, – пишет Добролюбов в письме к М.И. Шимановскому, – я приобрел сильный хронический бронхит, который при моем образе жизни и при петербургском климате грозит перейти в чахотку. Зимой я был серьезно болен, так что с месяц не выходил никуда. К весне стал поправляться, но плохо…»

Доктор советовал ему бросить все занятия и ехать за границу; но немалого труда стоило близким и знакомым людям заставить Добролюбова послушаться этого совета доктора. Он возражал, что едва успел развязаться с долгом, который сделал его покойный отец, построив себе дом в Нижнем, что дохода с этого дома не хватает на содержание и воспитание его сестер и братьев, и, в то время как на нем лежит обязанность заботиться о них, он будет отдыхать целый год и тратить деньги на путешествие! И только когда все окружающие начали неотступно настаивать, чтобы он скорее ехал за границу, он сам понял, что ему необходимо восстановить силы. Некрасов же щедро снабдил его деньгами и открыл ему безграничный кредит. Добролюбов в конце мая 1860 года уехал, наконец, за границу. Братья его были отданы для приготовления к вступительному экзамену учителю П.С. Юрьеву, который брал гимназистов на содержание.

Отправился Добролюбов через Берлин и Лейпциг в Дрезден. Как прежде, в юности, по приезде в Петербург он не расщедривался в письмах к родным и землякам на описание своих петербургских впечатлений, столь же скуп он был и теперь

относительно впечатлений заграничных. Письма его, как к петербургским друзьям, так и к нижегородским родным, носят исключительно деловой характер.

«Описывать мои переезды нечего, – пишет он в одном из писем М.А. Кострову, – все очень благополучно и просто совершаются по железным дорогам и на пароходах. Рассказывать о том, что видел, – об этом в книжках можно читать гораздо лучше; остается спрашивать и извещать о здоровье, – что я делаю. Но и это не надо делать слишком часто».

В Лейпциге и Дрездене его поразило только изобилие русских.

«До сих пор, – пишет он к М.И. Шимановскому, – я как будто все в родной Руси. Можете себе представить, что вчера первый день еще выдался мне такой, что я русского языка не слышал. А то куда ни оглянись – везде русские. В Дрездене – так это доходит до неприличия. В театре я раз сидел, буквально окруженный русскими: впереди, позади и справа были пары и тройки, которые несли ужаснейшую дичь, воображая, что никто их не понимает; слева сидел молчаливый господин, имевший вид немца. Я обратился к нему с каким-то вопросом относительно актеров: он мне ответил, что сам не знает, что он в первый раз в здешнем театре; затем оказалось, что это русский».

Дрезден Добролюбову не понравился.

«В Саксонской Швейцарии, – пишет он в письме П.Н. Казанскому, – виды точно превосходные; но в городе все так узко, темно, грязно, что он годится гораздо более для панорамы, нежели для живого глаза. А в панораме он должен быть великолепен, со своими узкими, закопченными зданиями, мутной и узенькой Эльбой, разрезывающей его, и свежей зеленью, которая его опоясывает, составляя контраст с копотью и грязью стен. Все это на картине должно иметь очень внушающий вид, потому что останутся одни очертания, а натуральная грязь исчезнет».

В Дрездене Добролюбов советовался с доктором Вальтером, который послал его в Швейцарию, в Интерлакен, а потом куда-нибудь на море. В Интерлакен Добролюбов приехал в начале июля и начал здесь лечение сывороткой и альпийским воздухом, которые на время восстановили его силы и здоровье, как об этом пишет он своим нижегородским родным: «Первый месяц я был все так же плох, как и дома, но, по крайней мере, развлекся видом разных мест и людей. А второй месяц, который проведен мной в Швейцарии, принес положительную пользу моему здоровью. Кто меня здесь видел, тот говорит, что я после петербургского уже значительно поправился. Я и сам это замечаю, потому что теперь

спокойнее и веселее смотрю на все…»

В начале августа Добролюбов через Берн и Париж отправился в Дьеп, где в течение всего месяца он брал морские ванны; а в начале сентября он был снова в Париже, где ему предстояли очень неприятные хлопоты с паспортом. Дело заключалось в том, что, как мы уже видели, он находился на номинальной службе при Втором кадетском корпусе и как служащий человек для путешествия за границу имел отпуск от корпусного начальства. Срок отпуска кончился, заграничный паспорт, выданный ему на это время, утратил свою ценность. Корпусное начальство почему-то отсрочку не разрешало, выходить же в отставку Добролюбов боялся, так как срок его обязательной службы далеко еще не кончился, и он не был уверен, отпустят ли его в отставку. Между тем русское посольство в Париже не хотело разрешить ему дальнейшее путешествие с просроченным паспортом. После же уверений его, что он ждет новый паспорт, в посольстве решили написать на старом паспорте, что он может возвратиться в Россию через Сардинию. Вследствие этой подписи и французская полиция начала его выпроваживать из Франции для возврата в Россию. К счастью, незадолго перед тем педагогический институт был закрыт, и начальство без препятствий отпускало в отставку бывших его казенных воспитанников, не заставляя их отслуживать требуемые годы. Добролюбов в свою очередь был уволен в отставку 25 сентября без всяких обязательств по болезни, и затем на старом паспорте ему написали отсрочку.

Проведя осень в Париже, на зиму Добролюбов поехал в Италию: во Флоренцию, Милан, Рим, Неаполь, Мессину. Там он пробыл до июня 1861 года. Здесь он имел последний, предсмертный роман. Так, в письме к одному петербургскому знакомому из Неаполя он между прочим пишет:

«Ездил я недавно к Помпею и влюбился там не в танцовщицу помпейскую, а в одну мессинскую барышню, которая теперь во Флоренции, а недели через две вернется в Мессину. Как видите, мне представлялся превосходный предлог ехать во Флоренцию, но я, признаться вам, струсил и даже в Мессине, вероятно, не буду отыскивать помпейскую незнакомку, хотя отец ее и дал мне свой адрес и очень радушно приглашал к себе».

Тем не менее Добролюбов не только разыскал своих помпейских знакомых, но и настолько сблизился с девушкой, что дело дошло до сватовства. Родители ее были согласны выдать за него дочь, но с тем условием, чтобы он остался в Италии. Добролюбов колебался и одно время был готов согласиться на эти условия, но неизвестно почему дело расстроилось. Вот что пишет он по этому поводу одному своему петербургскому знакомому 12

июня 1861 года:

«Я решился в то время отказаться от будущих великих подвигов на поприще российской словесности и ограничиться, пока не выучусь другому ремеслу, несколькими статьями в год и скромной жизнью в семейном уединении в одном из уголков Италии. Поэтому вопрос о том, сколько мог бы я получать от „Современника“, живя за границей, был для меня очень серьезен. Я бы не думал об этом, если бы был один; но у меня есть обязанности и в России, и я знал, что при прежней плате за статьи и при перемене жизни я не мог бы вырабатывать достаточно для всех. Ваше упорство не отвечать мне на мои вопросы отняло у меня возможность действовать решительно, и предположения мои расстроились, и, может быть, навсегда. Вы скажете, что если б мои предположения были так существенно важны для меня, то я не дал бы им расстроиться из-за таких пустяков. Скажете, что при серьезном решении я и писать должен был не так, как вам писал тогда. Правда, но что же делать, если в моем характере легкомыслие и скрытность соединяются таким образом, что я даже перед самим собой боюсь обнаружить силу моих намерений и начинаю чувствовать их значение для меня только тогда, когда уже становится поздно».

В середине июня Добролюбов отправился на родину морем; по пути заезжал в Афины, по всей вероятности в Константинополь, и в начале июля был уже в Одессе. Насколько поправилось его здоровье от этой заграничной поездки, можно судить по тому, что в Одессе у него хлынула кровь горлом, что заставило его замедлить дальнейшее путешествие.

При всем этом, так как в то время железных дорог на юге еще нигде не было, Добролюбову пришлось ехать на лошадях, где в дилижансе, где на перекладных, постоянно глотая дорожную пыль, – нужно ли говорить о том, как губительно действовало такое путешествие по отечественным дорогам. Тем не менее он успел заехать к родным в Нижний Новгород, зато приехал в Петербург совсем больнехонек.

В середине сентября Головачева, бывшая в то время за границей, получила от мужа (Панаева) письмо, которое ее очень встревожило и огорчило: Добролюбов простудился и расхворался. Доктор нашел, что у него очень серьезная болезнь в почках. Она начала подумывать о возвращении в Петербург для того, чтобы, если Добролюбову не будет лучше, по возможности удалить от него заботы о братьях и вообще доставить больному более удобств при его холостой обстановке. Вдруг она получила следующее письмо от Добролюбова:

«Если вам возможно, то вернитесь поскорей в Петербург,

ваше присутствие для меня необходимо. Я никуда не гожусь! Меня раздражает всякая мелочь в моей домашней обстановке. Вы можете видеть, насколько я болен, если придаю значение пустякам. Я убежден, что если вы приедете, то мне легче будет перенести болезнь. Я не буду распространяться о моей благодарности, если вы принесете для меня эту жертву. Ответьте мне немедленно, можете ли вы приехать?»

Добролюбов в это время уже не жил при Некрасове. Перед его приездом дядя нанял новую квартиру, в которой Добролюбов и поселился вместе с ним и с братьями. Когда Головачева, по приезде, пошла посмотреть, какая у него квартира, она нашла, что квартира никуда не годится для больного человека: мрачная, темная и сырая. Когда она присмотрелась к домашней обстановке Добролюбова, то поняла причину его раздражительности. Дядя поминутно донимал его жалобами на племянников, на кухарок, постоянно заводил разговоры о том, какое тягостное бремя взял на себя, заведуя хозяйством, обижался, что Добролюбов не может есть жирный суп и тощую курицу, зажаренную в горьком масле.

«Я, – рассказывает Головачева, – распорядилась присылать Добролюбову обед от нас, а за это дядя его надулся на меня».

Добролюбов по-прежнему, если не с удвоенным рвением, заботился о журнале и, не обращая внимания ни на какую погоду, ездил в типографию и к цензорам.

В самых первых числах декабря он приехал к Некрасову от цензора в десятом часу вечера сильно раздраженный тем, что не мог уломать его, чтобы он пропустил вычеркнутые места в чьей-то статье. Несмотря на все убеждения Некрасова, Добролюбов принялся за исправление статьи, но не прошло и часа, как человек пришел сказать Головачевой, что Добролюбову нездоровится. Она нашла его лежащим на диване; у него был сильный пароксизм лихорадки, и он едва мог проговорить: «Согрейте меня!.. Только, ради Бога, не посылайте за доктором». Головачева укутала Добролюбова, напоила горячим чаем; после озноба у него сделался сильный жар, и он так ослабел, что не мог уже идти домой.

Некрасов распорядился послать рано утром записку доктору Шепулинскому, чтобы он приехал осмотреть Добролюбова, но при этом сделал бы вид, что посещение случайное.

Шепулинский, выслушав Добролюбова, объявил Некрасову, что дело принимает серьезный оборот, что Добролюбову не встать с постели. Некрасов и Панаевы решили, что Добролюбову будет удобнее лежать в большой светлой комнате, нежели в его маленькой квартирке.

Силы Добролюбова уже не восстанавливались; но он

продолжал заниматься журналом: просматривал цензорские корректурные листы, читал рукописи; у него было столько силы воли, что он ничего не говорил о своем болезненном состоянии, и ему было неприятно, если кто-нибудь расспрашивал о его здоровье. Головачева стала замечать, что для Добролюбова сделалось тягостным присутствие посторонних лиц; он не принимал участия в общем разговоре, ложился на кушетку и закрывал себе лицо газетой. Она запретила пускать к нему посторонних. Добролюбов догадался об этом и заметил ей:

– Вы угадываете мои мысли, я только что хотел вас просить, чтобы вы никого ко мне не пускали, кроме Чернышевского.

Чернышевский каждый вечер аккуратно приходил посидеть с Добролюбовым, который всегда с нетерпением ждал его прихода и оживлялся беседой с ним.

Несмотря на физическую слабость, голова Добролюбова была по-прежнему свежа, и он живо интересовался общественными вопросами, литературой и журналом. Физически же с каждым днем он слабел и угасал; ему даже трудно было сидеть в кресле; он больше лежал на кушетке, но продолжал работать. Раз, в последних числах октября, принялся он читать какую-то толстую рукопись, но от слабости выронил ее из рук. Он тяжко вздохнул, и этот вздох скорее походил на стон. Он закрыл глаза и лежал несколько минут неподвижно. При этом лицо его приняло такое страдальческое выражение, что, смотря на него, трудно было удержать слезы. Через несколько минут Добролюбов окликнул Головачеву.

«Я подошла к нему, – рассказывает далее Головачева, – стараясь принять равнодушный вид. Он пристально посмотрел на меня, покачал с укоризной головой и потом проговорил:

– Прочитайте-ка мне рукопись, надо скорее дать юному автору ответ, он, бедный, наверное, измучился, ожидая решения участи своего первого произведения.

Я принялась читать рукопись, а Добролюбов лежал с закрытыми глазами; я думала, что он дремлет, да и не до того ему было, чтобы вникать в чтение, но оказалось, что он следил за чтением и сделал несколько замечаний насчет невыдержанности характера героя романа. Чтение наше было прервано получением письма от сестры Добролюбова из Нижнего. Прочитав письмо, Добролюбов печальным тоном произнес:

– Мои сестры уже взрослые, но вот братья!.. Он тяжко вздохнул и замолчал.

На другой день Добролюбов был задумчив и чем-то сильно встревожен. Когда ему надо было ложиться спать и я хотела уходить, он попросил меня остаться еще ненадолго, говоря, что у

него есть до меня большая просьба.

– Только, – прибавил он, – прежде дайте слово не расспрашивать меня ни о чем, как бы ни показалось вам странным мое желание.

Я дала слово.

– Наймите мне новую квартиру и переведите меня скорей в нее… Я знал, что вы удивитесь, – тоскливо произнес он.

Я отвечала ему, что завтра же утром пойду искать ему квартиру.

– Не подумайте, что мне нехорошо у вас, но так надо!.. Мне стыдно, что я сделался таким привередником, что не могу лежать на своей старой квартире. Мне надо теперь больше света и воздуха. Я об одном попрошу вас, когда вы будете нанимать квартиру для меня, чтоб она была поближе от вас. Я хочу, чтоб мои братья были возле меня.

Я нашла квартиру через дом от нас, в доме Юргенса. Пока ее устраивали, приискивали прислугу и т. п., прошла неделя, в продолжение которой Добролюбов ни о чем меня не расспрашивал и был вообще очень молчалив и печален. Первого или второго ноября вечером я сказала ему, что квартира совершенно готова. Добролюбов испуганно повторил:

– Все готово? Значит, я в последний раз переночую у вас? – Он задумался и с тяжким вздохом прибавил: – Завтра утром, часов в одиннадцать, перевезите меня… Только я вас прошу, чтобы никто со мной не прощался… Вы от меня поблагодарите Панаева и Некрасова… Мне и так будет тяжело.

На другое утро, придя поить Добролюбова утренним чаем, я заметила, что у него опухли глаза от слез. Человек Некрасова сказал мне, что у Добролюбова всю ночь горел огонь, и он раза два вставал с постели и сидел подолгу в креслах, положив руки на стол и склонив на них голову.

Добролюбов всегда встречал меня утром, улыбаясь и уверяя, что спал хорошо; но в это утро он встретил меня молча, хлебнул два глотка чаю и лег на диван к стене. Я ждала, когда он сам скажет, что пора уезжать. У меня к 11 часам стояла у подъезда карета, и люди скреслом ждали на лестнице новой квартиры, чтобы внести больного в третий этаж. Но проходил час за часом, а Добролюбов все лежал, не меняя позы. Некрасов и Панаев советовали спросить его, хочет ли он ехать, но я боялась еще сильнее расстроить его. Наступил час его обеда. Я подошла к нему и сказала, что обед подан. Добролюбов с трудом привстал и удивленно спросил: «Неужели уже 4 часа?», пересел на кресло к столу, но есть ничего не захотел и опять лег на диван лицом к стене.

Я подумала, что он отложил свой переезд. В 9 часов вечера человек Некрасова пришел ко мне и сказал, что Добролюбов зовет меня к себе. Я нашла его сидящим на диване; он поддерживал голову руками, облокотившись локтями на колени.

– Ради Бога, увезите меня скорей, – умоляющим голосом проговорил он.

Я пошла распорядиться, а через несколько минут человек Некрасова прибежал опять за мной, говоря, что больной беспокоится, что я его не везу.

– Как долго!.. Скорей одевайте меня, – произнес Добролюбов, когда я вошла.

Одевание его состояло в том, чтобы надеть большие теплые сапоги. Я повязала ему горло теплым шарфом. Добролюбов со стоном произнес: «Как мне тяжело!», упал лицом в подушку и, качая головой, повторял: «Тяжело, тяжело!..»

– Зачем же уезжаете? Останьтесь, – проговорила я.

Добролюбов выпрямился и твердо произнес: «Нет, нет! Надо уехать». Он встал и, несмотря на слабость, пошел в переднюю, потребовал, чтобы скорей подали шубу. Но когда ее надели, он не мог перенести ее тяжести, опустился на стул и закрыл глаза. Я и прислуга с минуту стояли перед ним, не зная, что нам делать. Наконец Добролюбов встрепенулся и проговорил: «Идемте».

Его взяли под руки, свели с лестницы и усадили в карету. Я села с ним. Он молчал, пока мы подъехали к его новой квартире. На подъезде его хотели посадить в кресло, чтобы нести на лестницу. Он воспротивился этому, говоря: «Взойду сам». Но, конечно, едва мы довели его под руки до первой площадки, как он уже не мог идти далее и безропотно повиновался, когда его усадили вкресло, понесли наверх, донесли до самой кровати, раздели и положили в постель. Он неподвижно лежал несколько минут с закрытыми глазами, потом обвел глазами комнату, посмотрел на меня, кивнул мне головой и слабым голосом проговорил: «Я спать хочу».

Он спал более часу. Чернышевский и доктор сидели в столовой. Добролюбов более недели как не хотел принимать лекарства и видеть доктора, сказав мне: «Теперь не нуждаюсь ни в докторах, ни в их лекарствах». Когда он проснулся, то улыбнулся мне и проговорил: «Мне теперь легче!»

По моей просьбе он выпил немного бульону и потребовал к себе братьев, которым начал говорить об их уроках. Когда я ему сказала, что пора спать, и стала прощаться с ним, он спросил меня, в какое время я приду завтра. Я отвечала, что зайду напоить его утренним чаем.

– Так рано? Это было бы очень хорошо, но вам надо

отдохнуть, я вас сегодня замучил. Я стал ни на что не похож.

– Ложитесь-ка спать, усните хорошенько, – отвечала я и спросила, не велеть ли человеку лечь в его комнате?

– Зачем! Вы ведь позаботились обо всем, у кровати есть шнурок, я позвоню, если что будет мне нужно.

Со дня переезда Добролюбова на квартиру он уже не вставал с постели и не мог более двух минут держать в руках газету; но был спокоен. Чернышевский два раза в день навещал больного и, чтобы он не утомлял себя разговорами, оставался не более получаса в его комнате.

С замечательным терпением Добролюбов переносил возраставшую в нем слабость. Нанятый мной лакей говорил мне о кротости его характера: «За здоровым ходить больше хлопот, чем за таким больным!.. Только дивиться на него!»

10 ноября, когда я утром пришла к Добролюбову, то человек, отворив мне дверь, тревожно сказал: «Ах, Авдотья Яковлевна, нашему больному нехорошо, должно быть, он всю ночь не спал; без их звонка я не смел входить к ним, и, стоя у дверей, я слышал, что он стонал, а недавно у меня два раза спрашивал – не пришли ли вы…»

Добролюбов встретил меня словами:

– Мне вообразилось, что у вас сделался припадок болей в печени и вы сегодня не придете ко мне, а у меня до вас есть опять большая просьба – эта будет последняя… Насилу дождался утра.

Я видела, что он сильно взволнован и что его лицо за ночь страшно изменилось.

– Прислали бы за мной, чем ждать до утра! – отвечала я.

– Недоставало только, чтобы я еще ночью не давал вам покою!

– Говорите же, что нужно мне сделать?

– Привезите ко мне доктора, который вылечил горло Некрасова.

Я отвечала, что сейчас поеду за доктором.

– Мне именно и хотелось просить вас, чтобы сами поехали, а то просить его запиской пройдет много времени, да, может быть, он еще и не приедет, а мне нужно его видеть сегодня… Непременно сегодня!

Доктора с большой практикой трудно застать дома, так что мне удалось только в 4 часа его видеть. Но этот день у него был приемный, и множество пациентов ждали его возвращения домой.

Добролюбов был прав: если б я не поехала сама, то доктор не приехал бы, потому что находил бесполезным свой визит; доктору было известно, что Добролюбов доживает последние дни, что его желание – один каприз, о котором он скоро забудет. Но я

упросила доктора приехать, и он обещал быть в 7 часов.

– Все одни неудачи мне! – заметил Добролюбов, когда я явилась к нему с ответом доктора. – Я надеялся, что вы приедете вместе с ним… Ну, что делать, помучаюсь еще до его приезда…

Доктор приехал в назначенный час, пробыл у Добролюбова с четверть часа и когда вышел от больного, то печально сказал: «Дня два или три разве протянет… Я пропишу рецепт, чтобы не огорчить его… Он меня спрашивал, можно ли ему шампанское и устрицы? Давайте все, что он попросит!»

Когда я вошла с рецептом в руках к Добролюбову, он сидел на постели, сжав свою голову руками. Увидев рецепт, он насмешливо сказал: «Таки прописал лекарство! Пожалуйста, не посылайте в аптеку!»

Глаза Добролюбова блестели, и он, нервно улыбаясь, продолжал:

– Я чуть не рассмеялся в глаза доктору, когда он, после обычных докторских утешений, ответил на мой вопрос – можно ли шампанское и устрицы – «Все можно!» – он не понял моего вопроса и не выдержал своей роли. Он вообразил себе, что говорит с больным, у которого голова потеряла способность ясно понимать вещи…

Добролюбов опять схватился за голову и с отчаянием произнес:

– Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать… Ничего! Как зло насмеялась надо мной судьба!.. Пусть бы раньше послала мне смерть! Хоть бы еще года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-нибудь полезное… Теперь ничего, ничего!

Он упал со стоном на подушки, стиснул зубы, закрыл глаза, и слезы потекли по его впалым щекам. Я была не в силах смотреть на его страдания и также расплакалась. Пролежав не более минуты с закрытыми глазами, он открыл их и слабым голосом проговорил:

– Не плачьте!.. Не совладал я со своими расходившимися нервами!.. Перестаньте! Вы стыдите меня за мое малодушие и глупость, которую я сделал!.. Будем по-прежнему тверды… Ни для вас, ни для меня не был неожиданностью исход моей болезни! Встретим конец как следует! Я теперь буду покоен!.. Больше не расстрою вас, и вы постараетесь по-прежнему быть тверды… Мне легче будет… Позовите ко мне братьев… Не бойтесь… Я владею собой!

Добролюбов все это говорил с большими перерывами. Мальчики пришли. Добролюбов спросил, готовы ли у них уроки к завтрашнему дню, пристально глядел на них, потом погладил

каждого по голове и с улыбкой произнес: «Теперь идите кончать свои уроки», – и он закрыл глаза, но скоро опять открыл их и спросил:

– Чернышевский здесь?

– Позвать его? – спросила я. Добролюбов не вдруг ответил:

– Нет, ему и мне будет тяжело!.. Желаю от души ему всего хорошего, как в его семейной жизни, так и в его литературной деятельности. Я попрошу более никого не впускать ко мне, и вам бы не следовало быть около меня. Я устал, засну!

С этого вечера Добролюбов сделался молчалив. Он покорно выпивал бульон, когда я ему подавала, больше лежал с закрытыми глазами. Откроет их, поглядит на меня и опять закроет. Но слух у него сделался чрезвычайно тонок: как бы тихо я ни сказала что-нибудь человеку – он все слышал и просил меня не говорить шепотом. За три дня до его смерти я заметила, что он начал не так внятно произносить слова. Я сообщила это доктору, и тот, желая удостовериться, не началась ли уже агония, тихонько вошел в комнату. Но только он приблизился к изголовью, Добролюбов открыл глаза и спросил: «Кто вошел?»

Я должна была солгать, что никого нет. На другой день не было уже сомнения, что агония началась: умирающий дышал тяжело, нижняя челюсть ослабела; он то высылал меня от себя, то снова посылал за мной человека. Желая мне что-то сказать, он произнес несколько слов так невнятно, что я должна была нагнуться близко к нему, и он, печально смотря на меня, спросил:

– Неужели я так уже плохо говорю?… Можете меня спокойно выслушать?

– Могу, – отвечала я.

– Поручаю вам моих братьев… Не позволяйте им тратить на глупости денег. Проще и дешевле похороните меня.

– Вам трудно говорить, потом доскажете, – заметила я, видя его усилие говорить громче.

– Завтра будет еще трудней, – отвечал он. – Положите мне руку на голову! Вы для меня делали то, что только могла делать одна моя мать, – и он замолк…

Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась долго, и, что было особенно тяжело, умирающий не терял сознания.

За час или за два до кончины у Добролюбова явилось столько силы, что он мог дернуть за сонетку у своей кровати. Он только что выслал меня и человека… Но опять велел позвать меня к себе. Я подошла к нему, и он явственно произнес: «Дайте руку»… Я взяла его руку, она была холодная… Он пристально посмотрел на

меня и произнес: «Прощайте… Пойдите домой! Скоро!»

Это были его последние слова… В 2 часа ночи (на 18 ноября) он скончался.

В течение двух дней с утра до вечера масса публики перебывала у покойника. В день похорон я в восьмом часу пошла проститься с ним, пока еще никого не было (в 9 часов назначен был вынос), но на дворе уже собралось множество народу, на лестнице также едва можно было пройти. Около дома и на улице также стояла толпа. Я не поехала на кладбище, потому что чувствовала себя совершенно больной. В 9 часов я подошла к окну своей комнаты. Вся улица была запружена народом, хотя для любителей торжественных похорон не на что было поглазеть, потому что не было никаких депутаций, ни венков. Несколько священников явились без приглашения проводить покойника. Простой дубовый гроб без венков и цветов понесли на руках, а парные дроги и две-три наемные кареты следовали за процессией».

Похоронили Добролюбова на Волковом кладбище на Литераторских мостках. Над могилой его возвышается каменная плита с лаконичной надписью «Николай Александрович Добролюбов, родился 24 января 1836 г., умер 17 ноября 1861 г.».

Глава VI

Характеристика литературной деятельности Добролюбова

Мы уже говорили в начале первой главы, что Добролюбов занимает центральное место между Белинским и Писаревым, составляет как бы переход от первого ко второму, от эпохи сороковых годов к шестидесятым.

Это серединное положение Добролюбова обусловливается и характером второй половины пятидесятых годов, во время которой развернулась его литературная деятельность. Эпоха эта, в свою очередь, была переходом от сороковых годов к шестидесятым. В философском отношении миросозерцание передовых, мыслящих кружков русского общества совершало в это десятилетие переход от гегелевской метафизики к реализму английских и французских философов; в нравственном отношении – от того мистического дуализма, в духе которого получали воспитание все предшествовавшие поколения, – к монизму и утилитаризму. В то же время в практических сферах это было время сильного общественного энтузиазма, общего подъема духа, причем первоочередно начали ставиться вопросы политического характера, и люди ждали от предстоящих реформ не только прогресса общественной жизни, но и личности в ее индивидуальном развитии. Все это движение как нельзя более ярко отражается во всех статьях Добролюбова, и он в этом отношении является наиболее типическим выразителем той переходной эпохи, в пределах которой прошла его литературная деятельность. Что касается общего миросозерцания Добролюбова, то мы видели уже из его биографии, что он получил воспитание в дореформенные годы в духе именно того мистицизма и дуализма, в котором воспитывались в начале 50-х годов все его сверстники. Не только на семинарской скамье, но и во время институтского курса мы видим в нем сурового аскета, непрестанно боровшегося с грешной плотью и стремившегося закалить себя отказом от всяких молодых страстей и соблазнов. Но к концу институтского курса и к началу литературной деятельности Добролюбова в нем совершился умственный перелом: мрак мистицизма и аскетизма рассеялся, и он вступил на почву реализма. И действительно, в тех немногих статьях, в которых наиболее ясно и определенно выражается общее миросозерцание Добролюбова («Жизнь

Магомета», соч. Вашингтона Ирвинга»; «Буддизм, его догматы, история и литература», соч. Васильева», и «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью»), он является перед нами вполне реалистом. Так, в статье *«Органическое развитие человека…»* Добролюбов говорит, что «в наше время успехи естественных наук, *избавившие нас уже от многих предрассудков,* дали нам возможность составить более здравый и простой взгляд на отношение между духовной и телесной деятельностью человека…» «В возведении видимых противоречий, – говорит он далее, – к естественному единству – великая заслуга новейшей науки. Только новейшая наука отвергла схоластическое раздвоение человека и стала рассматривать его в полном, неразрывном составе, телесном и духовном, не стараясь разобщать их. Она увидала в душе именно ту силу, которая проникает собою и одушевляет весь телесный состав человека…» и т. д.

Из этого монистического взгляда на человеческую природу вытекает система нравственности, прямо противоположная прежнему дуалистическому воззрению. Сообразно последнему в человеке постоянно совершается борьба между высшими, духовными, стремлениями и низшими, чувственными, а добродетель заключается в том, чтобы, побеждая страсти и похоть, принуждать себя силой воли следовать нравственным правилам и законам, предписанным нам свыше.

На почве же монизма возникла новая система нравственности, основанная, во-первых, на «утилитаризме», выводившем все самые высокие духовные стремления человека из побуждений и видов сначала личной, а затем общественной пользы; а во-вторых, – на теории органической естественности и свободы всех психических движений. Обе эти теории были в большой моде в продолжение всех шестидесятых годов, и Добролюбов был первый их провозвестник. При каждом удобном случае он восставал против людей, руководящихся в жизни не свободными, естественными влечениями своей природы, а мертвыми, рассудочными или предписанными со стороны принципами. Наиболее полно выражена эта теория нравственности Добролюбовым в двух его статьях: о Станкевиче и «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым». Так, в статье о Станкевиче он пишет:

«У нас очень часто превозносят человека тем всестороннее, чем более он принуждает себя к добродетели. Но, по нашему мнению, холодные последователи добродетели, исполняющие предписания долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь к добру, такие люди не совсем

достойны пламенных восхвалений. Эти люди жалки сами по себе. Их чувства постоянно представляют им счастье не в исполнении долга, а в нарушении его; но они жертвуют своим благом, как они его понимают, отвлеченному принципу, который принимают без внутреннего сердечного участия. Поэтому они всегда несчастны от своей добродетели, жалуются на свои многотрудные подвиги и часто оканчивают тем, что ожесточаются против всего на свете.

Кажется, не того можно назвать истинно нравственным, кто только терпит над собою веления долга как какое-то тяжелое иго, как «нравственные вериги», а именно того, кто заботится слить требования долга с потребностями внутреннего существа своего, кто старается переработать их в свою плоть и кровь внутренним процессом самосознания и саморазвития, так чтобы они не только сделались настоятельно необходимыми, но и составляли внутреннее наслаждение…

Скажут, что в подобном направлении выражается очень сильно собственный эгоизм человека, и этому эгоизму как будто подчиняются все другие, высшие чувствования. Но мы спросим: кто же когда-нибудь мог освободиться от действия эгоизма и какое наше действие не имеет эгоизма своим главным источником? Мы все ищем себе лучшего, стараемся удовлетворить своим желаниям и потребностям, стараемся добиться счастия. Разница только в том, кто как понимает это счастие. Есть, конечно, грубые эгоисты, которых взгляд чрезвычайно узок и которые понимают свое счастие в грубых наслаждениях чувственности, в унижении перед собою других и т. п. Но ведь есть эгоизм другого рода. Отец, радующийся успехам своих детей, – тоже эгоист; гражданин, принимающий близко к сердцу благо своих соотечественников, – тоже эгоист; ведь это он, именно *он* сам чувствует удовольствие при этом; ведь он не отрекся от себя, радуясь радости других. Далее, если человек жертвует чем-нибудь своим для других, и тогда эгоизм не оставляет его. Он отдает бедняку деньги, приготовленные на прихоть; это значит, что он развился до того, что помощь бедняку доставляет ему большее удовольствия, нежели исполнение прихотей. Но если он делает это не по влечению сердца, а потому только, что считает своим долгом, – тут уже действие не свободное, а принужденное; но и здесь все-таки есть эгоизм. Почему-нибудь человек предпочитает же предписание долга своему собственному влечению. Если в нем нет любви, есть страх. Он опасается, что нарушение долга повлечет за собой наказание или какие-нибудь другие неприятные последствия; за исполнение же он надеется награды, доброй славы и т. п. При внимательном рассмотрении и окажется, что побуждением действия формально

добродетельного человека служит эгоизм очень мелкий, называемый тщеславием, малодушием и т. п. Право, хвалить за это нечего».

В эстетических воззрениях Добролюбова более чем во всех других мы видим переходное положение от взглядов сороковых годов к взглядам шестидесятых. Так, с одной стороны, взгляды Добролюбова почти вполне сходятся с эстетическими идеями Белинского в последний период литературной деятельности последнего. Подобно Белинскому, Добролюбов проповедовал теорию искусства для жизни и отрицал эстетическую критику, прямо говоря в своей статье «Когда же придет настоящий день», что эстетическая критика сделалась теперь принадлежностью чувствительных барышень и что малому знакомству с чувствительными барышнями он обязан тем, что не умеет писать таких приятных и безвредных критик. Но, в то же время, опять-таки подобно Белинскому, он отрицал и тенденциозное, надуманное творчество, требуя, чтобы оно было вполне естественным и непроизвольным.

Так, в начале своей статьи «Луч света в темном царстве» он прямо говорит:

«Мы нисколько не думаем, чтобы всякий автор должен был издавать свои произведения под влиянием известной теории: он может быть каких угодно мнений, лишь бы талант его был чуток к жизненной правде. Художественное произведение может быть выражением известной идеи не потому, что автор задался этой идеей при его создании, а потому, что автора его поразили такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собой. Таким образом, например, философия Сократа и комедии Аристофана в отношении к религиозному учению греков служат выражением одной и той же идеи – разрушения древних верований; но вовсе нет надобности думать, что Аристофан задавал себе именно эту цель для своих комедий; она достигается у него просто картиной нравов того времени. Из его комедий мы решительно убеждаемся, что в то время, когда он писал, царство греческой мифологии уже прошло; то есть он практически приводит нас к тому, что Сократ и Платон доказывают философским образом».

Но всем этим и ограничивается сходство взглядов на искусство Добролюбова и Белинского. Рядом с этими тождественными взглядами мы видим иные, в которых выражается, в свою очередь, переход Добролюбова от метафизики к реализму. Так, Белинский хотя и говорит, что поэт отличается от ученого лишь тем, что мыслит не иначе, как живыми образами, но оставался еще на метафизической почве гегельянства, полагал,

что во всяком случае искусство представляет из себя особенную область, не имеющую ничего общего с наукой.

Добролюбов вслед за Белинским повторяет, что разница между художником и мыслителем лишь та, что один мыслит конкретным образом, никогда не теряя из виду частных явлений, а другой стремится все обобщать, слить частные признаки в общей формуле. Но в то же время, под влиянием известной диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», Добролюбов отрицал всякую существенную разницу между истинным знанием и поэзией и отсюда выводил второстепенное, служебное значение искусства.

«По существу своему, – говорит он в статье „Луч света в темном царстве“, – литература не имеет деятельного значения; она только или предлагает то, что нужно сделать, или изображает то, что делается и сделано. В первом случае она берет свои материалы и основания из чистой науки; во втором – из самих фактов жизни. Таким образом, вообще говоря, литература представляет собой силу служебную, которой значение состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как она пропагандирует».

Выделяя затем нескольких гениальных поэтов, вроде Шиллера, Данте, Гёте и Байрона, которые, служа полнейшими выразителями высшей степени человеческого сознания в известную эпоху и с этой высоты обозревая жизнь людей и природы и рисуя ее перед нами, возвышались над служебной ролью литературы и становились в ряд исторических деятелей, способствовавших человечеству в яснейшем осознании его живых сил и естественных наклонностей, Добролюбов затем говорит: «Что же касается до обыкновенных талантов, то для них именно остается та служебная роль, о которой мы говорили. Не представляя миру ничего нового и неведомого, не намечая новых путей в развитии человечества, не двигая его даже и на принятом пути, они должны ограничиваться более частным, социальным служением: они проводят в сознание масс то, что скрыто передовыми деятелями человечества, раскрывают и проясняют людям то, что в них живет еще смутно и неопределенно».

Проводя далее все ту же параллель между наукой и искусством, Добролюбов прибавляет: «Результат один, и значение двух деятелей было бы одно и то же; но история литературы показывает нам, что, за немногими исключениями, литераторы обыкновенно опаздывают, подмечают и рисуют возникающее движение тогда уже, когда оно довольно явственно и сильно, зато, впрочем, они ближе к понятиям массы и больше имеют в ней успеха; они подобны барометру, с которым всякий

справляется, между тем как метеоролого-астрономических выкладок никто не хочет знать… Таким образом, – говорит Добролюбов в заключение, – признавая за литературой главное значение пропаганды, мы требуем от нее одного качества, без которого в ней не может быть никаких достоинств, именно „правды“.

В подобном приписывании литературе самой скромной служебной роли барометра, проведения в массы недоступных ей научных идей нельзя не видеть задатков того еще более смелого и последовательного отрицания искусства, до которого несколько лет спустя дошел Писарев и которое проходит сквозь все шестидесятые годы.

В то же время, поскольку Добролюбов встал на ту точку зрения, что искусство должно служить для проведения научных идей в темные массы, из этого положения вполне естественно и последовательно он должен был вывести отрицательный взгляд на всю предшествующую русскую литературу, которая, совершенно игнорируя темные массы, существовала для небольшого меньшинства образованных людей, выражая их интересы, симпатии и антипатии. И действительно, в статье «О степени участия народности в развитии литературы» Добролюбов высказывает между прочим следующего рода взгляды, до того времени еще не встречавшиеся в нашей литературе:

«Напрасно у нас и громкое название *народных* писателей; народу, к сожалению, вовсе нет дела до художественности Пушкина, до пленительной сладости стихов Жуковского, до высоких парений Державина и т. д. Скажем больше: даже юмор Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже он и грамоте выучится; он должен заботиться о том, как бы дать средства полмиллиону читающего люда прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишут для удовольствия читающих. Забота немалая! Она-то и служит причиной того, что литература доселе имеет такой ограниченный круг действия… Массе народа чужды наши интересы, непонятны наши страдания, забавны наши восторги. Мы действуем и пишем – за немногими исключениями – в интересах кружка, более или менее незначительного: оттого обыкновенно взгляд наш узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер партиальности. Если и трактуются предметы, прямо касающиеся народа и для него интересные, то трактуются опять не с общесправедливой, не с человеческой, не с народной точки зрения, а непременно в видах частных интересов той или другой партии, того или другого класса».

В этих словах вы слышите голос века с его неодолимой тягой

к народу: в них выражается впервые возникшее горькое осознание поистине жалкого значения литературы, существующей для ничтожной горстки интеллигенции, теряющейся в несметных массах темного люда. Из этого великого сознания вытекла естественная мысль, что даже и Пушкина нельзя назвать вполне народным писателем. «Народность, – говорит Добролюбов, – понимаем мы не только как уменье изобразить красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслушанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т. п. Все это есть у Пушкина; лучшим доказательством служит его *«Русалка». Но чтобы быть поэтом истинно народным, надо больше: надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного ученья и пр., прочувствовать с ним простым чувством, каким обладает народ, – этого Пушкину недоставало».*

Подобное определение народного писателя представляет собой самое вещее и великое откровение столь славной эпохи, как конец пятидесятых годов, и такого лучшего представителя той эпохи, каким был Добролюбов.

Из всех вышеозначенных эстетических взглядов Добролюбов и выводил критерии своей критики, которую он называл – по всей справедливости – реальной. Реальная критика, по мнению Добролюбова, должна относиться к произведению художника точно так же, как к явлениям действительной жизни: она изучает их, стараясь определить их собственную норму, собрать их существенные, характерные черты; перед ее судом стоят лица, созданные автором, и их действия; она должна сказать, какое впечатление производят на нее эти лица, и может обвинить автора только за то, что впечатление это неполно, неясно, двусмысленно. Как скоро в писателе, художнике признается талант, т. е. уменье чувствовать и изображать жизненную правду явлений, то уже в силу этого самого признания произведения его дают законный повод к рассуждениям о той среде жизни, о той эпохе, которая вызвала в писателе то или другое произведение. И меркою для таланта писателя будет здесь то, до какой степени широко захвачена им жизнь, в какой мере прочны и многообъятны те образы, которые им созданы.

Для критики, по мнению Добролюбова, только те произведения и важны, в которых жизнь сказалась сама собой, а не по заранее придуманной автором программе. Так, о романе Писемского «Тысяча душ» Добролюбов ничего не говорил, потому что, по его мнению, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее, и положиться на правду и живую действительность фактов невозможно, потому

что отношение к этим фактам не просто и не правдиво… Подобные задачи, предлагаемые Добролюбовым для критики, делая критику не только реальной, но и публицистической, как нельзя более соответствовали тому сильному общественному движению, которое в то время происходило, и абсолютно подходили эпохе, в которую и беллетристы, и драматурги, и поэты, и историки, а тем более критики выступали в своих произведениях и трактатах прежде всего публицистами. Не уступил в этом отношении общему настроению и Добролюбов, и его лучшие критические этюды – «Темное царство», «Луч света в темном царстве», «Что такое обломовщина» и «Когда же придет настоящий день» – заключают в себе глубокий и всесторонний анализ существенных сторон русской жизни.

* * *

Взгляды, проводимые Добролюбовым в качестве публициста, можно разделить на две категории. Одни стоят на чисто культурно-исторической почве, выходят из анализа тех патриархальных отношений, какие перешли к нам по наследию от допетровской старины и сохранялись в жизни того времени во многих явлениях семейного и общественного быта. Такими были деспотизм и своеволие со стороны старших и бесправное, беспрекословное подчинение авторитету, отсутствие всякой самостоятельности и полное обезличение со стороны младших. Анализируя различные степени и виды деморализации, проистекающие из подобного порядка вещей, Добролюбов ставил в противоположность старым, отжившим началам новые, в основе которых стоит не страх, а любовь и доверие, и которые требуют, чтобы жизнь развивалась свободно и естественно без всяких стеснений и насилований и каждой личности предоставлена была полная самостоятельность во всех благих и законных проявлениях ее воли.

В этом отношении статьи «Темное царство», «Деревенская жизнь помещика в старые годы» или «О значении авторитета в воспитании» представляют не один только анализ художественных образов, фактов и взглядов, какие критик находил в разбираемых произведениях и статьях. Содержание подобных этюдов совершенно выходит из рамок критики в узком смысле этого слова. Они представляют собою замаскированные публицистические трактаты, касающиеся самых существенных основ русской жизни, и нередко заключают в себе глубокий аллегорический смысл.

Ко второй категории мы можем отнести статьи, в которых Добролюбов, не ограничиваясь одной культурно-исторической почвой, переходил на почву экономическую и начинал разбирать русскую жизнь, исходя из отношения труда к капиталу людей, закаленных тяжкой борьбой за существование, – к людям, изнеженным и обезволенным тунеядством и праздностью; наконец, из отношений интеллигенции с народом.

С наибольшей глубиной и смелой последовательностью подобный анализ проведен в статье «Что такое обломовщина». Характеризуя в этой статье героя романа Гончарова как помещичий тип, возросший на почве крепостного права, Добролюбов вслед за тем проводит поразившую современников смелую аналогию между Обломовым и целым рядом героев своего времени – Онегиным, Печориным, Бельтовым, Рудиным. Конечно, если вы будете рассматривать всех этих героев как художественные типы, принадлежавшие к различным эпохам, они покажутся вам мало похожими друг на друга. Но так как они все принадлежат к одной среде, развившейся на почве крепостного права и деморализованной им, то понятно, что они должны быть сходными между собой в некоторых чертах, составляющих характеристическую особенность этой среды. «Обломовка, – говорит Добролюбов, – есть наша прямая родина, ее владельцы – наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово (Обломовке)». Приравнивая таким образом всю русскую интеллигенцию к обломовскому типу, Добролюбов говорит:

«Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, – я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.

Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он – Обломов.

Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности *тихого шага* и т. п., я не сомневаюсь, что он – Обломов.

Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, – я думаю, что это все пишут из Обломовки.

Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих все те же самые случаи (а иногда и новые) о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, – я невольно чувствую, что я перешел в

старую Обломовку.

Остановите этих людей в их шумном разглагольствовании и скажите: «Вы говорите, что нехорошо то и то; что же нужно делать?» Они не знают… Предложите им самое простое средство, – они скажут: «Да как же это так вдруг». Непременно скажут, потому что Обломовы иначе отвечать не могут!.. Продолжайте разговор с ними и спросите: «Что же вы намерены делать? – Они вам ответят тем, чем Рудин ответил Наталье: „Что делать?! Разумеется, покоряться судьбе. Что же делать? Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами…“ и пр. Больше от них вы ничего не дождетесь, потому что на всех них лежит печать обломовщины».

Эта выдержка дает нам ключ к тому крайне скептическому, отрицательному взгляду, которым руководствовался Добролюбов в продолжение всей своей литературной деятельности, на возбуждение и радужное настроение, замечаемое им в обществе. Он постоянно указывал на непрочность и эфемерность всего этого движения, возникшего в среде, которая по самому существу своему инертна и неспособна к мало-мальски серьезному отношению к жизни. «Всмотритесь, – говорил он постоянно, – в характер обличений, – вы без особенного труда заметите в них нежность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся разве только нежности, обнаруженной во взаимных отношениях тех достойных друзей, одни из которых у Гоголя мечтают о том, как „высшее начальство, узнав о их дружбе, пожаловало их генералами“. „Конечно, это плохо, это гадко, безумно, отвратительно“, – говорят все обличители, не скупясь на сильные эпитеты, – и вы думаете: вот молодцы-то, вот энергические-то деятели!.. Погодите немножко: это в них говорит Собакевич; но Манилов не замедлит вступить в свои права, и у них тотчас явится и мостик через речку, и огромнейший дом с таким высоким бельведером, что оттуда можно видеть даже Москву».

В противовес этим отрицательным качествам интеллигенции Добролюбов постоянно выставлял народ, в котором одном он видел воплощение всех своих высших нравственных идеалов и полагал единственную надежду на возрождение общества. Так, в статье «Черты для характеристики русского простонародья» мы читаем следующее:

«Общее расслабление, болезненность, неспособность к глубокой, сосредоточенной страсти характеризуют если не всех, то *большинство* наших «цивилизованных» собратий. Оттого-то они и мечутся беспрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего им нужно и чего им жалко. Желают они так, что жить без того не

могут, а все-таки ничего не делают для осуществления своих желаний; страдают они так, что умереть лучше, а живут себе ничего, только меланхолический вид принимают. Не то у простого человека: он или неглижирует, внимания не обращает на предмет и уж не толкует о своих желаниях, или уж если привяжется, если решится, то привяжется и решится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствия не страшат его, когда их нужно одолеть для достижения страстно желанного и глубоко задуманного. Если уж нельзя достигнуть, простой человек не останется сложа руки; по малой мере он изменит свое положение, весь образ своей жизни, убежит, в солдаты наймется, в монастырь пойдет; часто он просто естественным образом не переживет неудачи в достижении цели, которая уже проникла в существо его и сделалась ему необходима в жизни; если же физическое сложение его слишком крепко и может вынести больше, нежели сколько нужно для крайнего раздражения нервов и фантазии, он не церемонится покончить с собой насильственным образом. И это тоже служит для нас свидетельством, как для простого, здорового человека, раз почувствовавшего свою личность и ее права, несносна жизнь бесплодная, бесполезная, автоматическая, без принципов и стремлений, без смысла и правды – жизнь, подобная той, какую проводят, например, господа и многие другие…»

Но не одну индивидуальную нравственность народа превозносил Добролюбов при каждом удобном случае и не одну цельность и мощность натуры простого человека противополагал он дряблости и развинченности интеллигентных людей. Переходя от отдельных личностей к народным массам, он постоянно видел в них единственную могучую стихийную силу, на которую может всегда положиться бессильная сама по себе интеллигенция. Он верил, что эта необъятная сила может воспрянуть вследствие одних жизненных опытов и переполнения чаши страданий. Так, в статье «Народное дело» мы читаем:

«Говоря о народе, у нас сожалеют обыкновенно о том, что к нему почти не проникают лучи просвещения, и что он поэтому не имеет средств возвысить себя нравственно, сознать права личности, приготовить себя к гражданской деятельности и пр. Сожаления эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не дают нам права махнуть рукой на народные массы и отчаяться в их дальнейшей участи. Не одно скромное ученье под руководством опытных наставников, не одна литература, всегда более или менее фразистая, ведет народ к нравственному развитию и к самостоятельным улучшениям материального быта. Есть другой путь – путь жизненных фактов, никогда не

пропадающих бесследно, но всегда влекущих событие за событием, неизбежно, неотразимо; факты жизни не пропускают никого мимо; они действуют и на безграмотного крестьянского парня, и на отупевшего от фухтелей кантониста, как действуют на студента университета… Действительный факт, отразившись в практической жизни деятельного, рабочего человека, породит тоже действительный факт, тогда как книжная теория и предположения образованных людей, может быть, так и останутся только теоретическими предположениями».

Нужно ли говорить о том, что во всех подобных суждениях Добролюбов является полным выразителем той всеобщей тяги к народу, которая составляла главную сущность его эпохи.

Но пропагандированием всех вышеназванных взглядов не ограничивалась деятельность Добролюбова. Рядом с ними мы видели взгляды совсем иного характера, вследствие которых Добролюбову невольно приходилось вступать в некоторое противоречие с самим собою. Мы уже говорили выше о том центральном положении, которое занимал Добролюбов между двумя эпохами – сороковых и шестидесятых годов. Вследствие этого главенствующего положения, восприняв идеи сороковых годов, развив их, подтвердив анализом русской действительности и сформулировав их в значительной степени и глубже, и шире, чем это удавалось людям сороковых годов, Добролюбов в то же время был провозвестником идей шестидесятников. В самом характере эпохи лежала особенного рода двойственность: рядом с движением социально-политическим, в ожидании существенных реформ и тяги интеллигенции к народу, шло движение философское, переход мысли передовых людей с метафизической почвы на реальную, всеобщего стремления к умственному развитию и обогащению знаниями. В интеллектуальном развитии, просвещении видели в то время такую же панацею от всех общественных и нравственных недугов, как и в реформах. Мы переживали в то время почти ту же самую безграничную веру в царство разума, какой был преисполнен XVIII век. В то же время нужно принять в соображение, что пятидесятые и шестидесятые годы как бы поделились между собой этими двумя параллельными течениями, причем на долю пятидесятых годов выпало движение социально-политическое, а на долю шестидесятых – философское. И действительно, в пятидесятые годы были задуманы и приняты все те реформы, которые в шестидесятые годы лишь приводились в исполнение в том виде, в каком они были завещаны пятидесятыми годами. На первом же плане в жизни передовой интеллигенции шестидесятых годов стояли увлечение естествознанием и стремление к реализму в

мышлении и в самой практике жизни.

Как у представителя пятидесятых годов, в статьях Добролюбова преобладали идеи социально-политические, но порою прорывались и иного рода взгляды, в которых обнаруживаются явные задатки движения шестидесятых годов, как бы предвозвестники этого движения.

Так, при всем своем скептическом отношении к интеллигенции с ее отвлеченным, мишурным образованием и при всей вере в непосредственные силы народа, у Добролюбова нет-нет да и проявлялась вера, что все зависит от разума, вооруженного положительным знанием, и что такой просвещенный разум может делать чудеса. Так, например, рядом с приравнением всей интеллигенции к обломовскому типу, рядом с целой серией убедительнейших доказательств, что тип Инсарова до сих пор еще невозможен в нашей жизни, так как «наша общественная среда подавляет развитие личностей, подобных Инсарову», мы видим в статье «Литературные мелочи прошлого года» первое противопоставление людей молодого поколения как нового общественного типа *людей реальных с крепкими нервами и здоровым воображением* и поколения старого. И появление этого нового типа объясняется Добролюбовым не в связи с каким-либо улучшением общественных порядков, как мы могли бы ожидать сообразно основным взглядам его на зависимость нравственности людей от условий их быта, а одним только изменением философских идей. Так, по его мнению, молодые люди с крепкими нервами и здоровым воображением потому отличаются спокойствием и такой твердостью, что они спустились из безграничных сфер абсолютной мысли и вошли в ближайшее соприкосновение с действительной жизнью. Отвлеченные понятия заменились у них новыми представлениями, подробности частных фактов проявились ярче и отняли немало сил у общих определений. Люди нового времени не только поняли, но и прочувствовали, что абсолютного в мире ничего нет, а все имеет только относительное значение. Оттого для них невозможно увлечение сентенциями, подобными, например, следующим: pereat mundus, fiat justicia;[10] «лучше умереть, нежели солгать раз в жизни»; «лучше убить свое сердце, чем изменить хоть однажды долгу супружескому или сыновнему, или гражданскому» и т. п. Все это для них слишком абстрактно и слишком имеет мало значения. На первом плане всегда стоит у них человек и его прямое существенное благо; эта точка зрения отражается во всех их поступках и суждениях. Осознание своего кровного, живого родства с человечеством, полное разумение солидарности всех человеческих отношений между собою – вот те внутренние

возбудители, которые занимают у них место *принципа.* Их последняя цель – несовершенная, рабская верность отвлеченным высшим идеям, а принесение возможно большей пользы человечеству…

«Нынешние молодые люди, – говорит Добролюбов, – хотят вести правильную, серьезную игру, и потому считают вовсе не нужным с первого же раза выводить слона и ферзь, чтобы на третьем ходе дать шах и мат королю. Они, наверное, рассчитывают, что это только повредит их игре, и потому подвигаются понемножку, заранее обдумав план атаки и беспрестанно следя за всеми движениями противника. Они также добьются своего шаха и мата, но их образ действий верен, хотя в начале игры и не представляет ничего блестящего и поразительного…»

Согласитесь, что все подобные определения Добролюбовым новых людей его поколения очень напоминают писаревские характеристики трезвых реалистов базаровского типа. В этих определениях чувствуется уже приближение шестидесятых годов. Такую же двойственность встретите вы в некоторых других сочинениях Добролюбова. Так, в IV главе статьи «Темное царство» он пишет: «Самодурство и образование – вещи сами по себе противоположные, и потому столкновение между ними, очевидно, должно кончиться подчинением одного другому: или самодур проникнется началами образованности и тогда перестанет быть самодуром, или он образование сделает слугою своей прихоти, причем, разумеется, остается прежним невеждою».

С точки зрения взглядов Добролюбова пятидесятых годов никакого не может быть тут *или:* раз самодурство зависит от известных порядков жизни, никакое образование не в состоянии заставить Кита Китыча перестать быть самодуром. К тому же истинное образование не может быть при известных условиях и доступно Киту Китычу. Но становясь на точку зрения шестидесятых годов, Добролюбов допускал возможность уничтожения самодурства путем одного только образования, и в этом отношении в свою очередь сходился с Писаревым, полагавшим, что громадное влияние на улучшение благосостояния рабочих классов может оказать повышение уровня образования капиталистов и фабрикантов.

Такой же рационализм в духе шестидесятых годов мы видим в первой главе «Темного царства», где Добролюбов сомневается, чтобы Бородкин мог великодушно простить измену любимой девушки, и видит в этом натяжку со стороны Островского на том основании, что во всей пьесе Бородкин предстает перед нами благородным и добрым по-старинному. Последний же поступок

его совсем не в духе того разряда людей, которых представляет Бородкин. Здесь, очевидно, предполагается, что только «развитие», «образованность» могут делать людей способными к столь великодушным поступкам, как женитьба на обесчещенной девушке. Но мы только что имели дело с речами Добролюбова совсем другого рода, именно с речами о преимуществе народа перед интеллигентными людьми относительно силы, чистоты и деликатности чувств простых людей, способных и любить, и ненавидеть, и *прощать с* большей непосредственностью и беззаветностью, чем интеллигентные люди.

Всего вышесказанного вполне достаточно для того, чтобы Добролюбов вполне ясно обрисовался и как критик, и как публицист. Нам остается в заключение обратить внимание на тот факт, что роль Добролюбова в нашей литературе далеко не исчерпывается одной критикой изящных произведений: литературная деятельность его была крайне разнохарактерна. Стоит только прочесть перечень его статей, чтобы убедиться, какой это был разносторонний писатель. Так, рядом со статьями критическими вы найдете у него и педагогические: «О значении авторитета в воспитании»; «Собрание литературных статей Н.И. Пирогова»; «Речи и отчеты, читанные в торжественном собрании московской практической академии коммерческих наук»; «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами»; «От дождя да в воду». Подвизался Добролюбов и на почве внутренних вопросов в статьях: «Литературные мелочи прошлого года»; «Народное дело»; «Любопытный пассаж в истории русской словесности». Заплатил свой долг Добролюбов и вопросам внешней политики в статьях: «По поводу одной очень обыкновенной истории»; «Непостижимая странность»; «Из Турина»; «Отец Александр Говацци и его проповеди». Писал в то же время Добролюбов и статьи полемического характера, и стихотворения элегические, юмористические, народные, обнаруживая весьма недюжинный стихотворный талант. Мы видели выше, что в «Современнике» были напечатаны и две его повести.

Вообще, нужно заметить, что под конец жизни Добролюбов все более и более переходил на почву публицистики открытой и незамаскированной личиной художественной критики; из него вырабатывался, очевидно, публицист в истинном и специальном смысле этого слова.

В качестве сатирика в «Свистке», о котором мы выше говорили, он был беспощадным обличителем и грозой всякого рода словесной мишуры, фразистости, напускного либерализма, скрывающего под блестящей внешностью грубое азиатское варварство и заскорузлое невежество. Бич его с равной

беспощадностью обрушивался как на жрецов чистого искусства, вроде Фета и Тютчева, так и на тенденциозных поэтов, вроде Розенгейма, с пафосом мнимой гражданской скорби обличавших мелких чиновников за гривенник, взятый ими с просителя. Во всех сферах жизни строгий приверженец естественности, искренности и простоты, при глубокой и страстной устремленности к общественной пользе, Добролюбов требовал и от литературы тех же качеств. Таков был этот наиболее типический и яркий представитель интеллигенции конца пятидесятых годов.

notes

Примечания

здесь – очень хорошо *(лат.)*.

отлично, превосходно *(лат)*.

хорошо *(лат.)*.

«Парижские тайны» *(фр.)*.

здесь – комнате.

чрезмерную ценность *(лат.)*.

7

У Сергея Павловича и Натальи Алексеевны Галаховых, людей богатых и принадлежавших к петербургскому светскому обществу.

здесь – заместителем.

возлюбленную *(фр.)*.

пусть погибнет мир, но совершится правосудие *(лат.)*.